This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

Slav 4338.7.3 (1)

HARVARD COLLEGE LIBRARY

BOUGHT WITH THE INCOME
OF A FUND LEFT BY
GEORGE RAPALL NOYES

В. М. Дорошевичъ.

Собраніе сочиненій.

Т. I.

Семья и школа.

Изданіе Т-ва И. Д. Сытина.

ivres en toutes Langues
R. de la Banque, PARIS

В. М. Дорошевичъ.

Собраніе сочиненій.

Томъ I.

Семья и школа.

Изданіе
Т-ва И. Д. Сытина.

Типографія Т-ва И. Д. Сытина, Пятницкая улица, собств. домъ.
МОСКВА.—1905.

Slav 4338.7.3 (1)

Горе и радости маленькаго человѣка.

(Посвящается гг. родителямъ.)

Ивановъ Павелъ, ученикъ 2-го класса 4-й гимназіи, вышелъ изъ дома сырымъ, осеннимъ, пасмурнымъ утромъ.

Выйдя изъ подъѣзда, онъ пошелъ едва-едва, медленно переставляя ноги, потомъ зашипѣлъ, началъ прибавлять ходу и завернулъ за уголъ съ такой уже быстротой, что долженъ былъ дать свистокъ, чтобы не передавить прохожихъ.

Это былъ не Ивановъ Павелъ, а курьерскій поѣздъ, шедшій изъ Петербурга въ Орелъ съ быстротой 120 верстъ въ часъ. Кругомъ мелькали пейзажи, и, проходя мимо воротъ, Ивановъ Павелъ за двѣ тумбы давалъ тревожные свистки, чтобы не перерѣзать на всемъ ходу бочку съ водовозомъ.

Ивановъ Павелъ, шипя и выпуская пары, съ быстротой молніи переводилъ себя съ стрѣлки на стрѣлку, самъ удивлялся своему искусству, и переходилъ черезъ улицы.

Съ конца октября или начала ноября Ивановъ Павелъ воображалъ себя команчемъ или онахомъ. Зимой онъ былъ слѣдопытомъ и очень внимательно разсматривалъ слѣды въ снѣгу, находя въ нихъ много

таинственнаго, загадочнаго и тревожнаго, заставлявшаго его испускать крикъ совы.

Но осенью, когда еще живы были воспоминанія о поѣздкѣ въ деревню, онъ былъ курьерскимъ поѣздомъ, который каждый день въ 8 часовъ утра ходилъ въ Орловскую губернію.

Дойдя до лавки Шестопалова, Ивановъ Павелъ зашипѣлъ, далъ контропаръ, и поѣздъ остановился. „Машинистъ пошелъ въ буфетъ“.

Ивановъ Павелъ зашелъ въ лавку, положилъ на прилавокъ пятачокъ, данный ему на завтракъ, и сказалъ:

— Дайте мнѣ палку шоколада „національнаго“, только съ испанцемъ... Или нѣтъ, дайте мнѣ лучше батонъ... Или вотъ что... Не надо батона... Дайте мнѣ палку косъ-халвы. Самой лучшей.

И отъ лавки Шестопалова Ивановъ Павелъ пошелъ уже медленно, погруженный въ пережевываніе косъ-халвы.

Палка косъ-халвы была упругая, какъ толстый кусокъ резины. Косъ-халва вязла въ зубахъ такъ, что Ивановъ Павелъ часто не могъ разжать челюстей и запускалъ въ ротъ палецъ. Это ему нравилось.

— Настоящая пища воина. Индѣйцы и не то еще ѣдятъ. А Кукъ, который ѣлъ отъ голода свои мокассины!

Когда Ивановъ Павелъ съѣлъ палку косъ-халвы, у него ломило скулы.

Затѣмъ Ивановъ Павелъ началъ останавливаться передъ окнами открывавшихся магазиновъ и разсматривать вещи, которыя онъ зналъ всѣ наизусть, какая гдѣ лежала.

А передъ магазиномъ оптика подождалъ даже, пока приказчики откроютъ окна, чтобъ посмотрѣть на настоящій маленькій паровозъ на рельсахъ, который онъ собирался три года „накопить денегъ отъ завтраковъ и купить“

Но не могъ исполнить этого, потому что каждое утро свой пятачокъ проѣдалъ.

Въ гимназію Ивановъ Павелъ пришелъ передъ самымъ звонкомъ, и сердце его вдругъ наполнилось тревогой.

Сегодня его должны вызвать изъ латыни.

Онъ хотѣлъ утромъ въ гимназіи подзубрить. Когда же теперь?

Онъ чувствовалъ страшное безпокойство во всемъ своемъ существѣ. И всѣ кругомъ чувствовали боязнь и безпокойство. Бѣгали, играли, кричали, но все это такъ нервно, словно они хотѣли шумомъ и крикомъ заглушить внутренній безпокойный голосъ.

Товарищи кинулись къ Иванову Павлу и закричали:

— Что жъ ты, Деветъ, а такъ поздно приходишь. Тутъ безъ тебя битва была. Иди къ Крюгеру.

На что Ивановъ Павелъ раздраженно крикнулъ:

— Убирайтесь отъ меня къ чорту! Дуракъ ты, а не Крюгеръ.

— Такъ и ты не Деветъ, а свинья! — сказалъ обиженный Крюгеръ.

И всѣ закричали:

— Господа! Господа! Ивановъ больше не Деветъ!

Крюгеръ далъ ему кулакомъ въ бокъ, за что Ивановъ Павелъ сдѣлалъ ему подножку.

Въ эту минуту ударилъ звонокъ.

— На первомъ урокѣ выучу! Русскій меня не спроситъ.

Но Николай Ивановичъ, „русскій“, вошелъ въ классъ и послѣ молитвы объявилъ:

— Господа, диктантъ!

У Иванова Павла сердце упало.

Диктантъ длился цѣлый часъ, и когда пробилъ звонокъ и началась первая перемѣна, къ Иванову Павлу подлетѣли товарищи:

— Ты какъ смѣлъ Костюкову подъ ножку давать? Подъ ножку нельзя! Не по правиламъ!

— Господа! Мнѣ надо латынь подзубрить! — объявилъ было Ивановъ Павелъ, но всѣ закричали:

— Трусъ! Трусъ!

А Мозговъ Игнатій крикнулъ:

— Какой же ты второй силачъ въ классѣ?

Это ужъ былъ вопросъ самолюбія. Ивановъ Павелъ вышелъ изъ-за парты и сказалъ:

— Ставься! Беру на лѣвую ручку. Много ли васъ на фунтъ сушеныхъ?

— Подъ ножку не давать! Подъ ножку не давать! — кричали товарищи.

А первый силачъ въ классѣ стоялъ около, готовый каждую секунду вступиться.

Мозговъ кидался и съ фронта и съ бока, но Ивановъ отшибалъ его каждый разъ и здорово приложилъ объ парту, какъ ударилъ звонокъ, и всѣ кинулись по мѣстамъ.

Въ коридорѣ раздались медленные, мѣрные шаги чеха-латиниста, словно шаги каменнаго командора.

У Иванова Павла вдругъ зачесалось все тѣло.

— Встуаньте! — дѣлая знакъ рукой, сказалъ чехъ-латинистъ.

Всѣ встали.

— Саитесь! — объявилъ чехъ-латинистъ, опуская руку.

Всѣ сѣли.

— Встуаньте! — опять крикнулъ онъ.

Опять всѣ встали.

— Саитесь! — опять сказалъ чехъ-латинистъ.

Опять всѣ сѣли.

Продѣлавъ такъ четыре раза, чехъ-латинистъ сѣлъ на каѳедру, отмѣтилъ отсутствующихъ, объяснилъ слѣдующій урокъ и взялся за журналъ.

— Господи! Не меня! Не меня! — зашепталъ Ивановъ Павелъ и началъ часто-часто креститься подъ партой.

Чехъ-латинистъ поводилъ пальцемъ по журналу и воскликнулъ:

— Мозгоу!

— Не меня! Не меня! — взыгралъ душой Ивановъ Павелъ.

Онъ сидѣлъ, низко-низко пригнувшись къ партѣ, и подъ столомъ давалъ ногою пинка сидѣвшему впереди высокому Веретенникову.

— Сиди выше! Сиди, говорятъ тебѣ, выше! Чтобъ меня не увидалъ.

Я и такъ высоко сижу! — шепталъ въ отвѣтъ Веретенниковъ, подложилъ подъ себя двѣ книги и вытянулся въ струнку.

— Выше, говорятъ тебѣ! Выше! Чтобы не видно было! — лупилъ его подъ столомъ Ивановъ.

— Да некуда выше! — огрызнулся Веретенниковъ.

— Уеретенниковъ Никуаи! Вы чеуо тамъ разгуариваете? — раздался вдругъ голосъ чеха. — Съ кѣмъ? Уотодвиньтесь!

И онъ пристально воззрился въ пригнувшагося къ партѣ Иванова Павла.

Ивановъ Павелъ чувствовалъ, какъ у него кровь приливала къ головѣ и горѣли уши.

Онъ сидѣлъ, нагнувшись, не смѣя взглянуть на чеха, но чувствовалъ на себѣ его пронизывающій взглядъ.

Весь классъ молчалъ. Мертвая тишина царила.

„Спроситъ! Спроситъ!“ словно въ предсмертномъ томленьѣ подумалъ Ивановъ Павелъ и полѣзъ подъ парту.

Но съ каѳедры раздался голосъ:

— Куда уы? Остуаньтесь!

Ивановъ замеръ.

Прошла еще тягостная, безконечная минута.

Чехъ водилъ пальцемъ по журналу и, наконецъ, сказалъ:

— Иуановъ Пуавелъ!

Ивановъ Павелъ подкашивающимися ногами пошелъ къ доскѣ.

— У уасъ въ прошлый раузъ була двуойка, — медленно и съ разстановкой началъ чехъ,—вуамъ нуадо пупруавиться. Пупруавьтесь!

Ивановъ Павелъ мигалъ, дрожалъ, краснѣлъ, блѣднѣлъ.

— Позвольте вамъ сказать, Оскаръ Викторовичъ...

— Гуоворите!—объявилъ чехъ.— Гуоворите! Уасъ уызвали зуатѣмъ чтуобъ вы гуоворили! Мы ждюемъ, чтуо скуажетъ Ивуановъ Пуавелъ!

— Позвольте вамъ сказать, Оскаръ Викторовичъ...— началъ было Ивановъ Павелъ и хныкнулъ.

— Не плуачьте! Не нуадо плуакать! — остановилъ его чехъ.—Куакія вы знуаете pluralia tantum?

Ивановъ Павелъ безпомощно оглянулся на классъ. Первый ученикъ, Патрикѣевъ Николай, съ оттопырившимися ушами сидѣлъ на первой скамейкѣ и сквозь очки ѣлъ чеха глазами, молилъ его:

— Спросите меня! Меня спросите, Оскаръ Викторовичъ, про pluralia tantum!

Постниковъ Алексѣй поднималъ уже руку и показывалъ испачканную чернилами ладонь, готовый вотъ-вотъ сорваться съ мѣста и забарабанить.

Мозговъ показывалъ Иванову языкъ. Костюковъ дѣлалъ въ воздухѣ знакъ:

‚Колъ“!

‚Всѣ, подлецы, рады, что я не знаю!“ подумалъ Ивановъ Павелъ и вдругъ почувствовалъ себя такимъ обиженнымъ, такимъ маленькимъ, такимъ несчастнымъ, что слезы полились у него изъ глазъ.

— Я... я... нниккаккихъ... не... не... знаю... pluralia... pluralia... tantum!

— Иуановъ Пуавелъ не знаетъ никуакихъ pluralia tantum! — вдругъ словно съ изумленіемъ воскликнулъ чехъ такимъ громкимъ голосомъ, что въ коридорѣ отдалось эхо.

Классъ хихикнулъ.

— Уаши уши, Иуановъ Пуавелъ, будетъ уэто pluralia tantum или нъѣтъ?

Классъ насторожился, предчувствуя спектакль.

Ивановъ Павелъ началъ икать и всхлипывать:

— Уотвѣчайте!

— Не знаю! — робко пробормоталъ Ивановъ Павелъ.

Классъ фыркнулъ и расхохотался.

Ивановъ Павелъ оглянулся, какъ затравленный звѣрекъ.

— Иуановъ Пуавелъ никуогда не видуалъ свуоихъ ушей! — объявилъ чехъ-латинистъ.

Классъ надрывался, рыдалъ, катался отъ хохота.

— Суадитесь...

— Оскаръ Викторовичъ, у меня голова!.. — сдѣлалъ Ивановъ Павелъ шагъ впередъ.

— У всеаукаго человуэка есть гуолова!—объявилъ чехъ, взялся за журналъ и обмакнулъ перо.

— Оскаръ Викторовичъ! — съ отчаяніемъ воскликнулъ Ивановъ Павелъ.

— Суадитесь! — сказалъ латинистъ и провелъ въ журналѣ перомъ сверху внизъ.

Весь классъ показалъ Иванову Павлу по пальцу.

А Патрикѣевъ Николай зашепталъ:

— Садись же! Садись же!

И поднялъ руку.

— Я знаю, Оскаръ Викторовичъ, pluralia tantum!

Ивановъ Павелъ съ воемъ прошелъ на свое мѣсто и, сѣвши, завылъ еще сильнѣе.

— Иуановъ Пуавелъ плуачетъ,— объявилъ чехъ,— пусть выйдетъ зуа дверъ и стуанетъ плуакать туамъ.

Ивановъ Павелъ вышелъ за дверь, сталъ въ коридорѣ — и въ классъ доносились его рыданія.

Время отъ времени онъ появлялся въ дверяхъ съ краснымъ лицомъ, мокрымъ, вымазаннымъ чернилами, поднималъ руку и говорилъ:

— Ос... Ос... Оскаръ... Вик... Вик... Викторовичъ...

Но чехъ спокойно отвѣчалъ каждый разъ:

— Стуаньте въ кауоридорѣ!

И продолжалъ допрашивать учениковъ.

Такъ кончился урокъ. Слѣдующимъ урокомъ былъ батюшка.

— Ивановъ Павелъ, чего слезы льешь, неутѣшно рыдаешь, словно избіенный младенецъ?— спросилъ батюшка.

— Мнѣ... мнѣ... Оскаръ Викторовичъ... колъ... колъ... колъ поставилъ!— отвѣтилъ, всхлипывая, Ивановъ Павелъ.

— Уроки надо учить съ прилежаніемъ, Ивановъ Павелъ, а не плакать!— замѣтилъ батюшка.—Пойди и умойся, потому что похожъ ты на чучело!

Ивановъ пошелъ, умылся и, вернувшись въ классъ, спросилъ у сосѣда записную тетрадку и переписалъ въ нее всѣ заданные уроки на двѣ недѣли впередъ, рѣшивъ съ этой самой минуты учить уроки не иначе, какъ наизусть.

Это рѣшеніе его нѣсколько успокоило и пробудило въ его сердцѣ надежду:

„Можетъ, и проститъ. Впередъ буду хорошо учиться“.

Онъ сидѣлъ и мечталъ:

„Буду первымъ ученикомъ. Пятерки по главнымъ предметамъ домой принесу. Мама мнѣ комнатную гимнастику повѣситъ“.

Но, вспомнивъ про маму, опять началъ всхлипывать. Тяжелыя предчувствія сжали ему сердце. Ему стало тяжко, тревожно, безпокойно.

И какъ только пробилъ звонокъ, Ивановъ, сшибая съ ногъ встрѣчныхъ, сломя голову бросился къ учительской и сталъ у дверей.

Была большая перемѣна.

Гимназисты шумѣли внизу. Изъ-за затворенныхъ дверей учительской доносились разговоры, смѣхъ.

У дверей учительской стояли двое: Ивановъ Павелъ и другой ученикъ, тоже 2 класса, но другого отдѣленія, Никаноръ Ивановъ, самый слабосильный въ классѣ.

— Ты къ кому?—спросилъ самый слабосильный.

— Къ Оскару Викторовичу, колъ поставилъ. А ты?

— Къ нѣмцу!—отвѣчалъ самый слабосильный.—За шумъ оставилъ!

И оба заплакали.

Такъ плакали они вмѣстѣ минутъ пять.

И, наконецъ, самый слабосильный сказалъ голосомъ, прерывавшимся отъ всхлипываній:

— Хочешь старое наполеоновское перо на новое восемьдесятъ шестое мѣнять?

— У меня восемьдесятъ шестыя всѣ со свинчаткой!—всхлипывая, отвѣтилъ Ивановъ Павелъ.—Хочешь я тебѣ за наполеоновское съ вѣточкой старое перо дамъ и немножко снимки дамъ?

— Ишь ты какой!—отвѣтилъ уже болѣе живо слабосильный.—На что мнѣ твоя снимка? Я самъ снимку жую!

И вынулъ изъ-за щеки кусокъ черной резины.

— Такъ твоя жеваная, а моя съ керосиномъ варена! — запальчиво отвѣчалъ Ивановъ Павелъ.—Щелкать можно. Хочешь, я тебѣ объ лобъ щелкну?

— Щелкни!

— Ишь какъ хлопаетъ!

— А дай мнѣ самому щелкнуть!

— Нѣтъ, братъ! Снимка, она къ рукамъ прилипаетъ. Не дамъ!

— Да что я, украду твою снимку-то?

— И украдешь!

— Самъ ты жуликъ! Жулье! Жулье! И снимка твоя дрянь!

— Что-о? Ты какъ смѣешь мою снимку ругать? А?

Ивановъ Павелъ далъ самому слабосильному подъ ножку,—въ эту минуту двери отворились, и изъ учительской вышелъ чехъ-латинистъ.

— Друаться здѣсь? Уопять Иуановъ Пуавелъ! Стуаньте къ стѣну. Уостанетесь на уодинъ часъ!

— Оскаръ Викторовичъ!—кинулся Ивановъ къ чеху и схватилъ его за фракъ.—Оскаръ Викторовичъ!

— Стуаньте!

— Оскаръ Викторовичъ! Оскаръ Викторовичъ! Я буду хорошо учиться!..

Латинистъ сходилъ съ лѣстницы.

— Оскаръ Викторовичъ! Оскаръ Викторовичъ!—кричалъ Ивановъ.

— Кто здѣсь кричитъ? Вы здѣсь кричите? — раздался громкій голосъ директора, выходившаго изъ учительской.

Все стихло.

Не слышно было даже всхлипываній.

Камень лежалъ на груди у Иванова. Онъ сидѣлъ, вздыхалъ и съ покорностью повторялъ про себя:

— Ну, что жъ дѣлать! Что жъ дѣлать! Пускай!

Затѣмъ ему что-то приходило въ голову, отъ чего его всего ежило и корежило. И онъ спѣшилъ отогнать отъ себя страшную мысль:

— А можетъ, и не будутъ!

На французскомъ языкѣ онъ немножко поуспокоился и даже сыгралъ подъ партой въ перышки, но безо всякаго увлеченія.

Когда же передъ концомъ послѣдняго урока, ариѳметики, надзиратель зашелъ въ классъ и объявилъ:

— Записанъ и остается Ивановъ Павелъ на одинъ часъ!

Ивановъ заерзалъ на мѣстѣ, чувствуя какія-то судороги, которыя пошли по тѣлу, и окончательно упалъ духомъ.

Гимназія съ шумомъ разошлась и опустѣла. Только въ одномъ классѣ сидѣло человѣкъ десять оставленныхъ, и среди нихъ Ивановъ Павелъ.

Старшіе шушукались между собой и чему-то смѣялись, младшіе плакали.

Дежурный надзиратель сидѣлъ на каѳедрѣ и писалъ записки родителямъ.

— Ивановъ Павелъ!

И онъ вручилъ Иванову записочку:

„Ивановъ Павелъ, 2 класса 1 отдѣленія, за единицу изъ латинскаго языка, за шумъ и драку во время большой перемѣны оставленъ на 1 часъ послѣ уроковъ. Помощникъ классныхъ наставниковъ А. Покровскій“.

Ивановъ Павелъ, который все время сидѣлъ и обдумывалъ, какъ онъ окончательно исправится, и получалъ уже въ мечтахъ своихъ похвальный листъ и книги изъ рукъ самого директора, взялъ записку и разревѣлся:

— Какой же шумъ? Я никакого шума не дѣлалъ. Я только дрался.

— Завтра принесете съ подписью родителей!—объявилъ надзиратель, и въ половинѣ четвертаго сказалъ:—Ступайте!

Уныло и жутко было выходить изъ гимназіи по пустымъ, молчаливымъ заламъ, уныло и жутко было

въ прихожей, гдѣ кое-гдѣ висѣло на пустыхъ вѣшалкахъ сѣрое пальто, уныло и жутко было идти по большому пустому двору.

— Хочешь, Ивановъ, я тебя провожу до дома, а потомъ ты меня проводишь до дома!—предложилъ ученикъ 8 класса, тоже остававшійся на часъ „за упорное непослушаніе классному наставнику".

— Убирайся ты! — со злобой и скорбью отвѣчалъ Ивановъ и пошелъ не домой, а по церквамъ.

Сначала зашелъ въ одну часовню Божіей Матери, потомъ въ другую, потомъ въ третью, потомъ сходилъ еще въ одну часовню приложиться къ образу Спасителя.

Молился вездѣ горячо и долго, кланялся въ землю, прикладывался по нѣскольку разъ, бралъ вату и чувствовалъ на душѣ примиреніе и успокоеніе и облегченіе.

Даже когда какой-то лавочный мальчишка крикнулъ ему въ догонку:

— Синяя говядина, красные штаны!

Ивановъ Павелъ не обернулся, не выругался, какъ бы слѣдовало, а кротко подумалъ въ душѣ:

„Господь велѣлъ прощать всѣмъ. Господи, прости ему его согрѣшеніе!"

Онъ ужасно боялся чѣмъ-нибудь теперь прогнѣвать Бога.

И давалъ въ душѣ обѣты:

„Я буду такой добрый, такой добрый. Только пусть бы меня сегодня не сѣкли!"

И вдругъ ему вспоминалось, какъ онъ въ субботу убѣжалъ отъ всенощной, чтобъ подраться на церковномъ дворѣ съ мальчишками.

И его охватывалъ страхъ. Онъ незамѣтно крестился, чтобъ не увидали прохожіе, и говорилъ:

— Я всегда, я всегда теперь буду ходить ко всенощной. Только пусть меня сегодня не сѣкутъ.

Такъ онъ пришелъ въ Казанскій соборъ, приложился къ иконамъ и особенно долго молился у одной.

Онъ всегда молился у этой иконы, и у него выработалась даже практика, какъ молиться.

Надо было стать на колѣни, откинуться немного назадъ и говорить шопотомъ такъ, чтобъ голосъ шелъ какъ можно глубже, и чувствовалось легкое содроганіе во всѣхъ внутренностяхъ.

— Господи! Господи! Дай Богъ, чтобъ меня сегодня... чтобъ меня сегодня... не сѣкли! — тише добавлялъ онъ, конфузясь передъ Богомъ, что обращается съ такой просьбой.

Онъ истово крестился большимъ крестомъ, крѣпко прижимая пальцы и кланяясь въ землю, долго оставался такъ, прижимаясь лбомъ къ холодному полу.

И онъ молился такъ до тѣхъ поръ, пока не началъ чувствовать знакомаго ощущенія: сердце какъ будто поднимается къ груди, горло слегка сжимаетъ, слезы сами текутъ большими каплями изъ глазъ и на душѣ разливается такое спокойствіе.

— Ну, значитъ сѣчь не будутъ! — рѣшилъ онъ, почувствовавъ знакомое ощущеніе.

И сейчасъ же самъ испугался своей самонадѣянности. Закрестился торопливо, торопливо:

— Господи, прости, прости!..

Вставъ съ колѣнъ, приложился къ образу, перекрестился три раза и пошелъ изъ собора, въ дверяхъ снова остановившись и истово перекрестившись еще три раза.

— Сѣчь не будутъ!

Смеркалось. Ѣсть хотѣлось страшно. Ивановъ Павелъ пошелъ къ дому.

И чѣмъ ближе онъ подходилъ къ дому, тѣмъ больше и больше падалъ духомъ.

— Если сейчасъ изъ-за угла выйдетъ женщина, значитъ—высѣкутъ, а если мужчина—сѣчь не будутъ...

Выходила женщина.

— Нѣтъ, нѣтъ. Не такъ! Если до той тумбы четное число шаговъ, — не будутъ, нечетъ — будутъ.

Онъ разсчитывалъ, дѣлалъ то огромные шаги, то сѣменилъ, но встрѣчный мужчина чуть не сбивалъ его съ ногъ, разбивалъ всѣ расчеты, и выходило нечетное число.

Ивановъ Павелъ выбиралъ самыя отдаленныя улицы, останавливался у оконъ магазиновъ, шелъ все тише и тише, и когда, наконецъ, противъ воли, противъ желанія, все же подошелъ къ дому, палъ духомъ окончательно:

— Высѣкутъ!

И онъ принялся ходить взадъ и впередъ около своего дома. Зажгли фонари, и дворникъ Терентій въ шубѣ вышелъ на дежурство.

Онъ замѣтилъ барчука, шагавшаго взадъ и впередъ по тротуару, и сказалъ:

— Что, вихры, бродишь? Опять набѣдокурилъ? — и, помолчавъ, добавилъ:—Изъ 16 номера барчука тоже драть нынче будутъ. Горничная за розгами прибѣгала. Надо и для тебя связать. Такъ ужъ на васъ метла и выйдетъ.

Отъ этихъ неутѣшительныхъ словъ стало на сердцѣ у Иванова Павла еще хуже.

Пробѣжала въ лавочку горничная, замѣтила барчука и, вернувшись, сказала барынѣ:

— А маленькій баринъ по протувару ходютъ!

— Приведи его домой!

Горничная выбѣжала на подъѣздъ и весело крикнула:

— Павелъ Семенычъ! Идите, васъ барыня кличутъ. Скорѣича идите! Чего вы, какъ вамъ сто лѣтъ! Скорѣича! Ну, будутъ дѣла! — сказала она ему на лѣстницѣ, и Ивановъ Павелъ неутѣшно заплакалъ.

Онъ раздѣлся и стоялъ въ передней, стоялъ и ревѣлъ.

— Иди-ка, иди-ка сюда!—сказала мама.—Ты что жъ это, полунощникъ? Ты бы до полуночи домой не приходилъ. Иди сюда. Что тамъ еще?..

И только что Ивановъ Павелъ переступилъ порогъ гостиной, мать дала ему пощечину.

— Мамочка, не буду! Ой, мамочка, не буду! — завопилъ Ивановъ Павелъ.

— Хорошо, хорошо, мы это потомъ поговоримъ. Чѣмъ еще порадуешь? Что принесъ?..

— Охъ, мамочка... Мнѣ неправильно..

— Давай записочку-то, давай!

Мать прочла записочку, сжала губы, посмотрѣла на Иванова Павла, какъ на какую-то гадину, помолчала и спросила:

— Что жъ мнѣ теперь съ тобой дѣлать прикажешь? А?

— Мамочка, я не буду..

— Что съ тобой дѣлать?..

И Ивановъ Павелъ почувствовалъ жгучую боль въ ухѣ, завертѣлся, заежился, какъ береста на огнѣ.

— Мамочка, милая...

— Хорошо, хорошо. Мы съ тобой потомъ поговоримъ! Потомъ...—зловѣщимъ тономъ проговорила мать.

„Потомъ. Не сейчасъ будутъ!“ полегчало на душѣ у Иванова Павла.

— Пойди въ кухню, умой харю-то! На кого ты похожъ?

Ивановъ Павелъ пошелъ въ кухню умываться

Кухарка Аксинья возилась у плиты, разогрѣвая для него обѣдъ, увидала и сказала:

— Дранцы — поранцы, ногамъ смотръ?

Ивановъ промолчалъ и мылся.

— Зачѣмъ дихтанты не пишешь?! — наставительно замѣтила кухарка.

Иванова Павла взорвало:

— И вовсе не за диктантъ, а по латыни! Дура! Дура ты, дура!

— А ты не дурачъ постарше себя. Я же тебя держать буду, какъ маменька стегать станетъ. А тебя подержу! Я тебя такъ подержу! — поддразнила кухарка.

Иванову Павлу хотѣлось на нее броситься съ кулаками, но онъ удержался

Хотѣлось попросить:

— Аксиньюшка, милая, недолго держи!

Но онъ тоже удержался.

— Пускай убиваютъ. Еще лучше!

И, глотая пополамъ со слезами холодное кушанье, Ивановъ Павелъ представлялъ себѣ, какъ онъ ужъ померъ подъ розгами, и его похоронили, и всѣ сидятъ на поминкахъ и ѣдятъ, какъ вотъ онъ теперь, и мать рветъ на себѣ волосы и кричитъ:

— Это я, я убила его! Очнись, мой Паша, очнись, мой дорогой, мой безцѣнный!

Какъ рыдала она, когда у него была скарлатина.

И Иванову Павлу стало жаль и себя, и матери, и всѣхъ, и онъ горько-горько заплакалъ.

— Ага! Кончилъ обѣдать? Ну-съ?—послышался голосъ матери.

Ивановъ Павелъ вскочилъ горошкомъ.

— Мамочка! Мамочка! Я сначала приготовлю уроки!

— Хорошо! Хорошо! Готовь, готовь уроки!

Ивановъ сѣлъ за уроки и принялся переписывать все, что только можно было переписать. Потомъ онъ все выучилъ, что можно было выучить, и особенно громко твердилъ латинскія слова:

— Увидятъ, что я стараюсь!

Чай пить онъ не пошелъ, боясь, чтобъ не воспользовались чайнымъ перерывомъ.

Наконецъ, ни переписывать ни читать было нечего. Спина и грудь ныли. Ивановъ Павелъ всталъ и началъ ходить по комнатѣ.

— Барыня спрашиваютъ: кончили, молъ?— появилась въ дверяхъ горничная.

— Нѣтъ! Нѣтъ!—испуганно забормоталъ Ивановъ Павелъ, снова сѣлъ за книги и принялся читать примѣры для переводовъ:

„— Войска царицы побѣдили конницу варваровъ.— Въ глубокихъ пещерахъ таятся львы. — Пожары часто уничтожаютъ цѣлые города“.

И ему представилось, какъ весь ихъ домъ охваченъ огнемъ. Нѣтъ, лучше на городъ напали непріятели, въ ихъ домѣ всѣ заперлись. Но онъ, какъ древній

грекъ Эфіальтъ, показываетъ непріятелямъ тайную дорогу по черной лѣстницѣ. Непріятели врываются. Всѣхъ избиваютъ, и онъ впереди непріятелей...

— Пойтить къ дворнику, сказать, чтобъ надергалъ! — словно про себя сказала горничная, проходя черезъ дѣтскую и шурша юбками.

„А Глашкѣ колъ въ животъ, — первой!“ думалъ Ивановъ Павелъ. И вотъ онъ избиваетъ всѣхъ, всѣхъ. Всѣ умоляютъ его о пощадѣ, ползаютъ у его ногъ. Но онъ неумолимъ. Какія пытки онъ имъ выдумываетъ. „Съ кухарки сдерите кожу. Глашку на колъ“. Ивановъ Павелъ даже содрогается. Ему становится ихъ даже жаль. „Просто прикажу убить. А маму... Маму я спасаю... „Вотъ, — говорю, — мама“...

Въ эту минуту откуда-то издали, изъ-за стѣнъ послышался какой-то визгъ. Дѣтскій голосъ оралъ, вопилъ что-то.

Ивановъ Павелъ прислушался, замеръ, и голова у него ушла въ плечи.

— Слышишь? — спросила мать, появляясь въ дѣтской. — Въ 16 номерѣ порютъ. Такъ же орать будешь.

„И мать убить!“ рѣшилъ Ивановъ Павелъ.

Кухарка прошла въ комнаты.

— Спросить, скоро, что ли-ча? — на ходу обронила она.

„А Аксинью!.. Ухъ, Аксинью!..“

— Маменька сказали, что нынче довольно. Какихъ уроковъ не доучите, завтра доучите! — объявила горничная. — Барыня сейчасъ сюда идутъ. Пойтить позвать Аксинью! У-у, безстыдникъ!

Ивановъ Павелъ бросился передъ вошедшей матерью на колѣни.

— Мама, милая, не сейчасъ! Дай Богу помолиться!

— Передъ смертью не надышишься! — улыбнулась мать. — Молись, молись!.. Да ты бы сначала раздѣлся.

Но Ивановъ Павелъ раздѣваться не сталъ. Онъ сталъ на колѣни и долго-долго истово молился на икону, дѣлая земные поклоны и шепча какъ можно громче, чтобъ слышно было въ сосѣдней комнатѣ:

— Господи, помилуй милую маму! Господи, защити, спаси и помилуй милую маму!

„Слышитъ она, какъ я за нее, или не слышитъ?“ думалъ Ивановъ Павелъ и возвышалъ голосъ все больше и больше.

А въ дверяхъ дѣтской стояла Аксинья и приговаривала:

— Ишь кувыркается! Закувыркался, братъ!

И горничная, войдя въ дѣтскую, нарочно громко сказала:

— Куда розги-то положить? Ахъ, нынче хороши! На рѣдкость!

Иванову Павлу стало нестерпимо. Онъ вскочилъ.

Вошла мать.

— Раздѣвайся Ложись.

— Мамочка! — вопилъ Ивановъ Павелъ. — Мамочка, не буду! Мамочка, милая, ты увидишь, — не буду!

— Раздѣвайся. Ложись.

— Мамочка!..

Ивановъ Павелъ ползалъ передъ матерью на колѣняхъ, ловилъ ея платье, цѣловалъ, но старался не приближаться слишкомъ, чтобы его не поймали и не ущемили головы между колѣнъ. Эту систему Ивановъ Павелъ ненавидѣлъ больше другихъ.

— Глаша, раздѣнь барина!

— Мамочка, я самъ...

И Ивановъ Павелъ принялся раздѣваться медленно-медленно.

— Глаша...

— Мамочка, я самъ.

Ивановъ Павелъ былъ готовъ.

— Ложись!

— Мамочка, ты меня не больно?.. Мамочка, ты меня недолго? — задыхаясь, говорилъ онъ, стараясь поймать руку, которая его сейчасъ будетъ сѣчь.

— Нечего, братъ, нечего уговариваться. Ложись...

— Мамочка...

— Положить тебя?

— Мамочка, я самъ.

— Аксинья!

— Мамочка, не надо, чтобъ Аксинья держала! Я самъ буду держаться!

— Аксинья!

И онъ почувствовалъ, какъ Аксинья взяла его за худенькія ноги, и сейчасъ же вслѣдъ за этимъ жгучую боль.

— У-ай! — взвизгнулъ мальчикъ, схватился руками, почувствовалъ жгучую боль въ рукахъ, отдернулъ ихъ, опять схватился, опять отдернулъ.

— Глаша, держи руки.

— А-а-ай! — какъ зарѣзанный завопилъ мальчикъ, чувствуя полную безпомощность.

— Учись! Учись! Учись! — приговаривала мать.

— Мамочка, не буду! Мамочка, не буду! — вопилъ Ивановъ Павелъ.

— Не дерись, не шуми! Не шуми, не дерись! Не шуми! Не шуми!..

— Мамочка, я не шумѣлъ... Мамочка, я не шумѣлъ...

И онъ чувствовалъ, что умираетъ . . . . . .

. . . . . .

Въ постели пахло сухими березовыми листьями. Красная лампадка мигала передъ образомъ. Въ сумракѣ слышались стихающія рыданія.

И грудь Иванова Павла была полна слезъ. Болѣло и саднѣло. А по душѣ расплывалось спокойствіе.

— Кончено. Случилось. Больше нечего бояться.

И тихо всхлипывая, заснулъ бѣдный мальчикъ, и снилось ему во снѣ, что онъ предводитель команчей и на голову разбиваетъ всѣхъ бѣлыхъ.

За что надругались надъ человѣческимъ тѣломъ и надъ маленькой человѣческой душой?

Что такое ребенокъ?

Правда, странный вопросъ?

А между тѣмъ обратитесь къ любому отцу семейства.

— Скажите пожалуйста, что такое ребенокъ?

— Ребенокъ?!.. Какіе странные вопросы вы задаете!.. Ребенокъ... Ну... Ну... Ну, это будущій человѣкъ... Ну... Ну... да это всякій понимаетъ, что такое ребенокъ...

Вопросъ мнѣ показался интереснымъ.

Именно теперь, когда такъ много разговариваютъ о школьной реформѣ.

Я обратился съ этимъ вопросомъ къ тремъ отцамъ и получилъ въ отвѣтъ три письма.

I.

Если бы вы спросили меня, вѣрю ли я въ безсмертіе души, — я отвѣчалъ бы вамъ, не колеблясь:

— Да.

Для меня это не подлежитъ никакому сомнѣнію. Для меня это очевидно.

Безсмертіе души, это — дѣти.

Я безсмертенъ въ моихъ дѣтяхъ. Я не умру, если у меня есть ребенокъ. Не умретъ лучшее, что во мнѣ есть.

Я жилъ, страдалъ, работалъ, мыслилъ, и лучшія изъ тѣхъ мыслей, которыя у меня накопились за жизнь, лучшія изъ чувствъ, которыя у меня выработались, я передамъ моему ребенку.

Только лучшія! Замѣтьте.

Всѣ мы знаемъ, что въ жизни очень важно умѣло лгать. Однако, мы не учимъ ребенка:

— Лги умѣло.

Мы говоримъ ему:

— Люби правду!

Горькій опытъ учитъ насъ, что низкопоклонничать очень выгодно.

Однако, мы говоримъ ребенку:

— Не низкопоклонничай. Это гадко.

Развѣ добро такъ ужъ выгодно, полезно, практично? Есть много дурного, сквернаго, гнуснаго, что приноситъ въ жизни гораздо больше пользы.

Однако, мы не учимъ ребенка:

— Умѣй ловко пользоваться гнусностью. Не избѣгай подлости, когда надо. Кругомъ, мой другъ, такъ дѣлаютъ. Это необходимо въ борьбѣ за существованіе. Пользуйся и зломъ.

Мы не даемъ ребенку этого единственно практичнаго воспитанія.

Мы очень непрактично учимъ его добру, которое не всегда полезно, которое чаще всего очень вредитъ интересамъ человѣка.

Почему?

Вѣдь, собственно говоря, если бъ я хотѣлъ облегчить своему сыну жизнь, я бы долженъ былъ внушать ему:

— Доставай деньги. Это главное. Какими путями,— это все равно. Когда ты достанешь много денегъ,— про пути всѣ забудутъ. Только дѣлай это ловко, чтобъ не попасться. Бѣги отъ людей, съ которыми случилось несчастье. Никогда не слѣдуетъ подплывать къ человѣку, который тонетъ: и тебя съ собой утопитъ! Но, мой другъ, когда поступаешь такъ, никогда не дай заподозрѣть себя въ жестокосердіи. Напротивъ, ты сожалѣй, плачь, на словахъ говори какъ можно больше. Хорошія слова, это — все.

Почему же, вмѣсто того, чтобъ подавать ребенку такіе, дѣйствительно, полезные въ жизни, совѣты, ему внушаютъ массу „хорошихъ вещей", которыя окажутся лишними, непрактичными, непригодными къ жизни, которыя будутъ мѣшать ему, вредить въ борьбѣ за существованіе?

Почему? Зачѣмъ?

Я передаю своему ребенку только то, что есть въ моихъ мысляхъ и моемъ сердцѣ лучшаго, божественнаго и потому безсмертнаго.

Я стремлюсь, чтобъ лучшая часть моей души осталась безсмертной и жила въ моемъ ребенкѣ.

Это — безсознательное стремленіе къ безсмертію.

Рожденіе ребенка, это — скульптура.

И я—маленькій Пигмаліонъ, который хочетъ вдохнуть въ созданную имъ статую живую душу, — мою душу. Чтобъ она жила на свѣтѣ послѣ моей смерти.

У меня есть мечты, идеалы, грезы. Я не доживу до ихъ осуществленія. Но онъ, можетъ-быть, доживетъ. Не онъ, — его сынъ, которому онъ, въ свою очередь, передастъ мою душу, вложенную мною въ него.

И когда мой внукъ увидитъ осуществленіе того, о чемъ мечталъ я, и когда онъ скажетъ:

— Мой дѣдъ еще мечталъ объ этомъ! Вотъ если бъ старикъ увидѣлъ!

Это моя душа прочтетъ его устами:

— Нынѣ отпущаеши...

Вы слышите, про человѣка говорятъ:

— Совсѣмъ его покойный отецъ! Та же прекрасная душа!

Вотъ человѣкъ, который не умеръ, хотя его и похоронили.

Онъ живетъ, живетъ въ своемъ сынѣ.

И старики, помнящіе отца, съ радостью видятъ живую душу человѣка, котораго они знали, узнаютъ ее и улыбаются ей, какъ старой милой знакомой.

Скупецъ хотѣлъ бы, чтобъ и сынъ его былъ скрягой. Человѣкъ, любящій людей, хотѣлъ бы, чтобъ и сынъ его обладалъ той же душой.

Это — стремленіе обезсмертить себя.

Боязнь умереть.

Путь къ безсмертію, это — дѣти.

Вотъ вамъ, мнѣ кажется, и рѣшеніе о школѣ.

Послушайте, въ то самое время, какъ я пишу вамъ, мой сынъ въ сосѣдней комнатѣ сидитъ и зубритъ исторію Иловайскаго, — именно исторію Иловайскаго, а не исторію міра, потому что съ настоящей исторіей міра этотъ „курсъ всемірной исторіи“ ничего общаго не имѣетъ. Это — самый тенденціозный и потому отвратительный учебникъ въ мірѣ. Онъ напоминаетъ мнѣ подтасованную колоду картъ. Извращенные факты, извращенное освѣщеніе.

То, что читаетъ сейчасъ вслухъ мой мальчикъ, ложно и потому отвратительно. И это вбиваютъ ему въ голову!

Что я долженъ сдѣлать?

Пойти и сказать:

— То, что ты сейчасъ прочелъ,—ложь. Дѣло происходило вотъ какъ!

Онъ скажетъ мнѣ:

— Вотъ хорошо, что ты мнѣ сказалъ. Я такъ и отвѣчу!

Что я долженъ возразить ему?

— Нѣтъ, мой милый мальчикъ, отвѣчать ты долженъ такъ, какъ написано въ учебникѣ. А правду—скрывать про себя. Говори ложь, а думай правду!

Передо мной лежитъ газета, которую я только что прочелъ.

Въ ней какой-то господинъ рекомендуетъ ввести особые классы „народной гордости“.

Онъ съ умиленіемъ вспоминаетъ, какъ гдѣ-то въ Германіи видѣлъ школьниковъ, которые распѣвали во все горло подъ дирижерство учителя:

„Deutschland, Deutschland ueber Alles,
Ueber Alles in der Welt!“

И онъ рекомендуетъ ввести такія же прогулки съ пѣніемъ для нашихъ школьниковъ.

Да если я-то думаю, что „ueber Alles“ должна быть справедливость, а не „Deutschland“? Зачѣмъ же мнѣ калѣчатъ моего ребенка?

Вы хотите давать „политическое воспитаніе“ дѣтямъ? Ради Бога! Да они еще слишкомъ малы для этого!

Вдругъ я имѣю въ домѣ девятилѣтняго представителя партіи! Да это такъ же пріятно, какъ имѣть въ домѣ урода.

Политика, даже самая лучшая, неумѣстна въ преподаваніи. Политика, это — такая приправа, которую нельзя класть во всякое кушанье.

Я требую, чтобъ школа дала моему ребенку три вещи: знаніе, любовь къ знанію, умѣнье учиться и достигать знанія.

Пусть онъ знаетъ, хочетъ знать больше, умѣетъ заниматься самъ.

Съ знаніемъ придетъ и любовь.

Любовь, это — знаніе.

Только то, что мы знаемъ, намъ близко. Только то, что намъ близко, мы любимъ.

Чтобы полюбить какого-нибудь человѣка, надо узнать его. Когда вы знаете его, его мысли, его радости, его печали, его прошлое, понимаете причины каждаго его поступка, — вы сочувствуете ему, вы жалѣете уже о тѣхъ дурныхъ чертахъ, которыя просто возмутили бы васъ, если бъ вы не знали, почему, откуда онѣ явились, у васъ является желаніе помочь этому человѣку — вы любите его.

То же самое и съ цѣлымъ народомъ, со страной.

Узнайте, и вы полюбите.

Почему этнографы всегда въ концѣ концовъ любятъ тотъ народъ, который они изучали? Потому, что они вошли глубоко въ его бытъ. Потому, что они его знаютъ.

Пусть школа только даетъ знаніе.

И когда мой сынъ будетъ знать Россію, знать ея литературу, ея исторію, ея бытъ, — онъ будетъ любить ее.

А ужъ что онъ будетъ считать „ueber Alles“, предоставьте позаботиться мнѣ.

Онъ будетъ видѣть свѣтъ тамъ, гдѣ видѣлъ свѣтъ я. Когда я умру, онъ пойдетъ туда же, куда шелъ я. Моя душа пойдетъ въ его тѣлѣ.

Одно знаніе, чистое знаніе, любовь къ знанію, умѣнье добиваться знанія пусть даетъ школа. Все остальное—дѣло семьи. Дѣло мое. Дайте мнѣ самому заботиться о своей душѣ. Если я ребенку не передамъ самаго завѣтнаго, что есть въ моей душѣ, — зачѣмъ я жилъ? Зачѣмъ онъ у меня родился?

II.

Что такое ребенокъ? Очень просто отвѣтить.

Ребенокъ, это—несчастье, которое надо какъ-нибудь поправить.

Я жилъ и знаю, что такое жизнь. Я знаю, что на минуту радости здѣсь годы несчастія. Хорошенькая планета, гдѣ у лучшихъ и сильнѣйшихъ умовъ является мысль:

„Позитивно только страданіе. Счастье, это — отсутствіе страданія!“

Почему я не ухожу отсюда? Я попалъ въ скверное мѣсто и продолжаю въ немъ оставаться! Казалось бы, странно?

Почему обитатель ночлежнаго дома никакъ не можетъ уйти изъ него?

Дайте ему денегъ, — онъ пропьетъ и вернется въ „ночлежку“.

Иначе сдѣлаетъ! Вымоется, „справитъ“ себѣ приличное платье, на остатки угоститъ пріятелей, съ ко-

торыми прощается. Напьется, за безцѣнокъ продастъ платье, пропьетъ и пойдетъ чистый спать на грязныя нары. Желаніе было страшное уйти, а въ концѣ концовъ все-таки останется.

Почему?

Вѣдь отъ грязи и мерзости его также тошнитъ. Онъ также слышитъ, что въ кабакѣ и ночлежкѣ мерзко воняетъ.

У него искреннее желаніе уйти.

Почему же онъ не можетъ уйти изъ сквернаго мѣста, въ которое попалъ, не можетъ даже тогда, когда къ этому есть возможность?

Причина простая.

Слабость воли. Вотъ и все.

Привычка жить, желаніе жить — слабость воли. И только.

Я знаю, что здѣсь мерзко, и дальше будетъ также мерзко. И не могу „уйти“ изъ жизни. Слабость воли. Только и всего.

И я презираю себя за это безсмысленное, поистинѣ какое-то запойное желаніе жить.

Презираю, какъ алкоголикъ презираетъ свой запой.

И вотъ я, знающій, что такое жизнь, самъ сидящій въ этой мерзости, нечаянно посадилъ сюда и другого. У меня ребенокъ.

Неосторожно я причинилъ ему жизнь.

Бѣда, которую надо какъ-нибудь поправить.

Вооружить его хоть чѣмъ-нибудь на жизнь.

Чѣмъ? Знаніемъ. Я отдаю его въ школу.

— Вооружайся!

Я прошу школу:

— Вооружите его!

Вооружите, чтобъ онъ могъ другихъ ѣсть, а не другіе его ѣли.

Знаніе, это—средство сѣсть кому-нибудь на спину.

Иванъ Ивановичъ знаетъ, въ которомъ году родился Киръ, въ которомъ умеръ Камбизъ, и съ какого по какой годъ длилась война Бѣлой и Алой розы, и передаетъ эти знанія другимъ.

А потому кухарка Акулина, которая не знаетъ даже, въ какомъ году она сама родилась, жарится у плиты, варитъ ему щи и бѣгаетъ по дождю въ лавочку за папиросами.

А если бы Иванъ Ивановичъ не зналъ, въ какомъ году родился Киръ и когда умеръ Камбизъ, онъ самъ бы чистилъ сапоги Василію Петровичу, который знаетъ, что квадратъ гипотенузы равенъ суммѣ квадратовъ катетовъ, и можетъ преподать это другимъ.

Зато и Акулина, знай она про Камбиза или гипотенузу, была бы не кухаркой, а учительницей и, придя домой, орала бы на Матрену:

— Ты что жъ это, дрянь этакая, по любовникамъ шатаешься? Опять щи не готовы?!

Точь въ точь такъ, какъ теперь Иванъ Ивановичъ оретъ на нее, Акулину.

Я ѣду на извозчикѣ потому, что знаю побольше его. А если бы было наоборотъ,—кто изъ насъ сидѣлъ бы на козлахъ?

А потому, мой другъ, вопросъ о школѣ, — вопросъ самый простой.

Какъ можно больше знаній, которыя могутъ пригодиться.

Самая простая формула:

— Учите только тому, что можно съѣсть.

Только тому, на что можно пообѣдать, на что можно купить папиросъ.

Никакихъ этихъ знаній, возвышающихъ душу, расширяющихъ кругозоръ.

Вѣдь чѣмъ возвышеннѣе душа и шире кругозоръ, тѣмъ больше непріятностей и огорченія въ жизни чувствуешь, и тѣмъ сильнѣе ихъ чувствуешь.

Зачѣмъ же я буду дѣлать все это ребенку?

Посадилъ человѣка въ клоповникъ, да еще буду заботиться:

— Чтобъ кожа у него была тонкая!

Зачѣмъ это?

Чтобъ боль онъ сильнѣе чувствовалъ?

Къ чему такое свинство надъ ребенкомъ дѣлать, какъ кругозоръ ему расширять и духъ возвышать?

Сдѣлалъ неосторожность, — хоть не увеличивай!

III.

Дѣти, это—налогъ на страсть въ пользу государства. Это — пошлина за поцѣлуи.

Я поставщикъ сырого матеріала.

Я поставляю на государство дѣтей. А оно ужъ дѣлаетъ изъ нихъ различныя подѣлки. То, что ему нужно: чиновниковъ, офицеровъ, инспекторовъ, учителей и т. д., и т. д., и т. д.

Для этого у него есть школа.

Какъ поставщикъ сырья, я себѣ въ сторонѣ.

Сдалъ къ извѣстному сроку то, что нужно, — и кончено.

Съ девяти до половины третьяго дня матеріалъ въ работѣ. Его обтачиваютъ, шлифуютъ.

А затѣмъ присылаютъ ко мнѣ на сохраненіе.

Я его и храню у себя до утра.

Конечно, я долженъ заботиться, чтобы „штука въ работѣ“, пока у меня на дому лежитъ, какъ-нибудь не попортилась.

Вотъ, по-моему, чѣмъ должны регулироваться отношенія между семьей и школой.

Не школа должна прислушиваться:

— Чего семья требуетъ.

А семья должна глядѣть:

— Чего школа желаетъ?

То и дѣлать.

Были древніе языки, — я говорилъ своему:

— Учи, мерзавецъ, Кюнера! Учи, мерзавецъ, Кюнера!

Теперь греческій, говорятъ, совсѣмъ по боку.

Да если я увижу, что мой сынъ читаетъ потихоньку Гомера на греческомъ языкѣ, — да я запорю негодяя:

— Не смѣй недозволенныхъ книгъ читать!

Вотъ что такое ребенокъ, — и какія должны быть къ нему истинныя отношенія у истиннаго отца.

Собственно говоря, мнѣ понравились всѣ три письма.

И понравились бы даже очень, если бы у каждаго изъ нихъ не было маленькаго postscriptum'а.

Подъ первымъ была приписка:

— Нельзя ли напечатать это письмо въ какой-нибудь газетѣ? Покрупнѣе, на видномъ мѣстѣ!.. И непремѣнно за моей полной подписью. Пожалуйста! Кажется, ничего себѣ? А? Возвышенно!

Подъ вторымъ:

— Кажется, въ современномъ штилѣ? Съ пессимизмцемъ. Если напечатаете, — пришлите. Очень обяжете. У меня вообще репутація пессимиста. Знаете, это какъ-то дѣлаетъ человѣка интереснѣе.

Подъ третьимъ стояло:

— Не будете ли вы добры при случаѣ, будто ненарокомъ, показать это письмо его превосходительству Петру Петровичу? Вамъ это все равно, а мнѣ можетъ принести пользу: у насъ освобождается мѣсто помощника экзекутора, и мнѣ очень хотѣлось бы, чтобы его превосходительство зналъ образъ моихъ мыслей. Чрезвычайно обяжете!

Семья и школа.

Въ одно прекрасное утро, — вѣроятно, это было солнечное, ясное, хорошее утро,— г. попечитель петербургскаго учебнаго округа,— вѣроятно, вообще очень добрый человѣкъ,— проснулся въ превосходномъ, особенно добромъ настроеніи духа.

Въ такомъ настроеніи король Генрихъ IV воскликнулъ когда-то:

— Я бы хотѣлъ, чтобъ у каждаго изъ моихъ подданныхъ была къ обѣду курица!

Въ такомъ настроеніи г. попечитель учебнаго округа отдалъ гг. директорамъ гимназій распоряженіе, чтобъ они обратились къ гг. родителямъ съ вопросомъ:

— Какъ вы хотите, чтобъ вашимъ дѣтямъ ставили отмѣтки: за каждый отдѣльный отвѣтъ, какъ теперь, или за извѣстный промежутокъ времени: за двѣ, за три недѣли?

Первый случай, когда родителей призвали къ рѣшенію школьныхъ вопросовъ.

Починъ благой. Мысль прекрасная, свѣтлая, ясная.

Но когда въ одинъ хмурый, ненастный, осенній день подочтутъ результаты плебисцита,— отвѣтъ получится:

— Предпочитаемъ старый способъ.

Г. попечитель учебнаго округа будетъ, вѣроятно, страшно удивленъ:

— Что это? Неужели семья у насъ, дѣйствительно, довольна существующими школьными порядками?

Нѣтъ.

— Что жъ, они, значитъ, не сумѣли разобраться въ предложенномъ вопросѣ?

На первомъ же экзаменѣ срѣзались!

И г. попечитель учебнаго округа, быть-можетъ, горько улыбнется:

— Вотъ тебѣ и зови родителей на помощь въ разрѣшеніи школьныхъ вопросовъ!

Не беремъ болѣе ранняго періода, но тридцать лѣтъ безъ одного года семья и школа были ожесточенными врагами другъ друга.

Образованія не было,—была „школьная повинность“, тягостная, ненавистная, которой подчинялись, какъ подчиняются воинской повинности:

— Что же дѣлать?

Ученья не было,—было сложеніе и дѣленіе отмѣтокъ.

Мальчикъ получалъ единицу. Значитъ, надо или сразу сыграть и получить пять:

— Спросите меня сегодня, г. учитель!

Или сыграть два раза и получить по четыре.

1+4+4=9; 9, дѣленное на 3, даетъ 3.

Мальчикъ получалъ пять. Значитъ, можно недѣлю не учить уроковъ и получить единицу.

5+1=6; 6, дѣленное на 2, даетъ 3.

Или двѣ недѣли плохо учить уроки и получить двѣ двойки. Опять:

5+2+2=9; 9, дѣленное на 3, даетъ 3.

— Ванечка! Ванечка! Надо заниматься. У тебя единица есть. Нужна пятерка.

— Ванечка, чего ты ничего не дѣлаешь?

— Мамочка, у меня пятерка есть. Мнѣ не страшно.

Никакого ученья не было, а былъ рядъ ариѳметическихъ дѣйствій съ такимъ расчетомъ, чтобы въ результатѣ получилось хоть 3.

Семья ненавидѣла школу. Школа презирала семью.

Семья вызволяла кое-какъ у школы своего мальчика:

— Мама, дай записку, что у меня голова болѣла. А то опять колъ поставятъ.

Школа презрительно смотрѣла на эти маневры семьи:

— Опять записка! Не вѣрю. Мало ли что вамъ тамъ дома напишутъ!

Школа приходила въ соприкосновеніе съ семьей только для катастрофъ.

— Вызову родителей!

— Пошлю родителямъ записку!

Хуже не было угрозъ.

„Вызовъ въ гимназію“ повергалъ семью въ трепетъ:

— Какой еще ужасъ надумала совершить школа?

Всякая записка изъ школы была какъ письмо въ траурномъ конвертѣ,—заставляла испуганно вздрагивать:

- До чего довелъ? Записку къ родителямъ пишутъ? А?

Отецъ, мать ходили въ гимназію, какъ парламентеры, чтобъ „выхлопотать“ плѣнника.

И вотъ когда, спустя тридцать лѣтъ безъ одного года, родителей спрашиваютъ:

— Какою должна быть, по вашему мнѣнію, школа въ такомъ-то вопросѣ?

Родители не знаютъ даже, что отвѣтить.

Да откуда же мы знаемъ, какою должна быть школа, какою бываетъ школа?

Мы школы не видѣли. Мы школы не знаемъ.

Мы знаемъ, что такое „канцелярія“ для маленькихъ чиновниковъ“, но школа!..

Мы понятія не имѣемъ, что такое школа! Какая такая она бываетъ! Какою даже можетъ быть!

Если спросить сейчасъ всю Россію:

— Какой должна быть средняя школа?

Во всей Россіи не найдется ни одного человѣка, который бы отвѣтилъ на этотъ вопросъ.

Тридцать лѣтъ безъ одного года мы знаемъ канцелярію, а не школу. Мы привыкли къ канцеляріи.

А семьи канцелярскихъ служащихъ всегда боятся реформъ:

— А ну, какъ хуже будетъ?

И когда послѣ тридцатилѣтней войны школа предложила семьѣ перемиріе, нечего удивляться, что семья отнеслась къ этому предложенію съ опаской.

— Какъ ставить отмѣтку: за отдѣльный отвѣтъ или общую за двѣ недѣли?

Изъ двухъ золъ человѣкъ не всегда выбираетъ меньшее. Часто выбирается изъ предосторожности старое, болѣе привычное.

Родитель разсуждаетъ такъ:

— Отмѣтка за отдѣльный, часто случайно плохой отвѣтъ,—конечно, нелѣпость. Мальчикъ могъ слу-

чайно не приготовить, не понять только этого урока, и ему ставятъ „колъ“

Но, съ другой стороны, родитель разсуждаетъ:

— Зато я все время въ курсѣ игры. Принесъ Ванька отмѣтки за недѣлю,— есть колъ,— я его слѣдующую недѣлю никуда не пущу, дохнуть не дамъ, „учись, проси, чтобъ спросили, поправляйся!“ А тутъ...

Родителей пугаетъ фраза циркуляра:

— Двѣ-три недѣли и т. п., по усмотрѣнію педагогическихъ совѣтовъ.

А вдругъ, какъ они „усмотрятъ“ ставить отмѣтки разъ въ мѣсяцъ!

Прошелъ мѣсяцъ,— хвать, а у него колъ. Когда тутъ „поправляться“? Да еще вдругъ въ послѣдній мѣсяцъ передъ „четвертью“?

Въ послѣдніе дни передъ четвертью даже самые безпечные родители тревожно освѣдомляются у дѣтей:

— Вызывали? Сколько поставили? Приготовь на завтра! Вызовись!

Тутъ ужъ ариѳметическіе расчеты идутъ съ особою силою.

Выходитъ оно какъ будто бы и очень хорошо.

Отмѣтки не за отдѣльный, часто случайно плохой отвѣтъ, а за двѣ, за три недѣли,— за срокъ, въ который все же можно судить объ успѣхахъ и прилежаніи мальчика.

Да, но кто поручится, что учитель, привышій къ отмѣткамъ, не умѣющій и цѣнить иначе, какъ по отмѣткамъ, не заведетъ себѣ этакой меленькой карманной книжечки, съ клѣточками, и не начнетъ въ нее ставить отмѣточекъ.

А потомъ черезъ двѣ недѣли просто-напросто сложитъ и раздѣлитъ:

3+2+3+1+3=12; 12 на 5=$2^2/_5$. Значитъ — 2.

И родитель говоритъ:

— Нѣтъ, ужъ пусть лучше игра идетъ въ открытую. Удобнѣе за игрою слѣдить и въ игрѣ участвовать!

Родитель предпочитаетъ явную канцелярію, потому что боится тайной канцеляріи.

Правда, циркуляръ обѣщаетъ „сверхъ того“:

— Оповѣщать родителей въ случаѣ слабыхъ успѣховъ ихъ дѣтей по тѣмъ или другимъ предметамъ.

Но тридцатью годами безъ года родители научены, пуще огня боятся такихъ „оповѣщеній“.

Когда „оповѣщаютъ“?

Наканунѣ выгона.

Родители привыкли,— вызываютъ сказать:

— Вашъ сынъ слабъ.

Значитъ, въ слѣдующій разъ вызовутъ, чтобъ оповѣстить:

— Возьмите вашего сына!

— Переведите вашего сына отъ насъ въ другую гимназію.

— Вашъ сынъ остается на второй годъ.

Вообще что-нибудь „утѣшительное“ въ этомъ родѣ.

Родитель разсуждаетъ:

— Учитель поставитъ у себя въ маленькой карманной книжечкѣ моему Петѣ маленькій колликъ или двойку. Что жъ, онъ сейчасъ и пошлетъ за мной: „вашъ сынъ слабъ“? Да если каждый учитель начнетъ изъ-за каждой единицы и изъ-за каждой двойки родителей вызывать, такъ ему 24 часовъ

въ сутки на разговоры не хватитъ, да и ни въ одной гимназіи для пріема родителей мѣста не найдется! „Оповѣстятъ“ тогда, когда совсѣмъ ужъ плохо, какъ раньше дѣлали. И будетъ онъ, коликъ-то, въ книжечкѣ стоять, пятеркою или двумя четверками не прикрытый, и ждать второго и третьяго колика. Тогда ужъ и вызовутъ,— да поздно, ничѣмъ не поможешь! Нѣтъ, ужъ лучше своевременно объ опасности узнавать!

Въ основѣ всѣхъ этихъ разсужденій лежитъ одно. Отвѣчая на заданный вопросъ, родители предполагаютъ:

— Учителя будутъ относиться къ дѣлу попрежнему, по-канцелярски.

И это приведетъ, навѣрное, авторовъ добрыхъ и свѣтлыхъ начинаній въ отчаяніе:

— Сами родители смотрятъ на школу, какъ на канцелярію.

Вѣрнѣе, не вѣрятъ, что вы будете смотрѣть на нее иначе.

За родителями горькій опытъ тридцати лѣтъ безъ одного года!

Только черезъ тридцать лѣтъ безъ одного года захотѣли выслушать голосъ родителей въ школьныхъ вопросахъ. Какой запоздавшій циркуляръ!

Но онъ и преждевременный циркуляръ. Сначала школѣ надо было сдѣлать нѣсколько шаговъ навстрѣчу. Измѣнить сначала канцелярское отношеніе къ учащимся. Показать, что школа перестала быть канцеляріей.

И если бы тогда спросили родителей:

— Какой порядокъ вы предпочитаете теперь, при отсутствіи въ школѣ канцелярскаго духа?

Отвѣты родителей были бы иными, чѣмъ они будутъ теперь.

А теперь? Какъ родители, если бъ они даже и знали, чѣмъ должна быть школа, могутъ отвѣтить на предложенный вопросъ?

— Мы-то хотѣли бы такъ и такъ. Да вы-то будете продолжать втайнѣ военныя дѣйствія.

И тридцатилѣтняя война никакъ не можетъ закончиться желаннымъ перемиріемъ.

Вѣдь войско врага осталось все то же, и способы военныхъ дѣйствій не могутъ быть иными.

Если бы опросить всю образованную Россію по вопросу, самому важному, самому коренному: „Какой системы образованія желаете вы для вашихъ дѣтей?“ — на милліонъ голосовъ не нашлось бы одного за классицизмъ.

И всякому понятно, что эта система, ненавистная русскому обществу, существуетъ, потому что, куда же дѣть эту армію несчастныхъ „латинистовъ“ и „грековъ“?

Эту армію несчастныхъ, ничего болѣе не знающихъ и ни къ чѣму болѣе не пригодныхъ.

Эту армію, отдавшую всю жизнь свою на служеніе „по мѣрѣ разумѣнія циркуляровъ“. Эту армію, сушившую, забивавшую дѣтскія головы Ходобаями и Кюнерами. Эту армію, давшую Россіи рядъ малограмотныхъ, малоразвитыхъ поколѣній.

Куда они пригодны?

Вѣдь не вышвырнуть же ихъ на улицу, не сказать же:

— Умирайте съ голоду!

И какъ же они иначе будутъ относиться къ дѣлу, когда они иного отношенія и не знаютъ?

Развѣ они умѣютъ образовывать, воспитывать? Они умѣютъ, они знаютъ одно:

— Ставитъ отмѣтки.

Это отмѣтчики.

Развѣ у нихъ есть какое-нибудь другое мѣрило, другой педагогическій пріемъ, кромѣ „отмѣтки“? Развѣ учить не значитъ для нихъ „ставить отмѣтки“?

Ну, скажите имъ:

— Отмѣтокъ въ журналѣ за отдѣльные уроки ставить не надо.

Они разорятся изъ скуднаго жалованья по гривенничку, купятъ по маленькой книжечкѣ съ клѣточками и начнутъ ставить отмѣтки тайно, „для себя“.

А потомъ складывать и дѣлить:

$3+2+3+1+3=12$; 12 на $5=2^2/_5$. Значитъ—2.

И родители, зная, что такое эти педагоги, зная, какъ только они и могутъ относиться къ дѣлу, предпочитаютъ, чтобы слѣдствіе объ „Ивановѣ Павлѣ, обвиняемомъ въ непрестанномъ уклоненіи отъ исполненія своихъ обязанностей“, велось гласно, а не тайно и,—кто знаетъ—быть-можетъ, пристрастно.

Учитель.

Артемій Филатовичъ Эразмовъ, высокій сгорбленный человѣкъ, лѣтъ пятидесяти пяти—по внѣшнему виду, сорока пяти—на самомъ дѣлѣ.

Рыжеватые, съ сильной просѣдью волосы.

Одно изъ тѣхъ жесткихъ, сухихъ озлобленныхъ лицъ, по которому вы сразу узнаете или стараго департаментскаго чиновника или педагога.

Не даромъ же опытные защитники стараются по возможности вычеркивать педагоговъ изъ списка присяжныхъ засѣдателей.

Сидѣнье въ классѣ, сидѣнье вечеромъ за ученическими тетрадками, сидѣнье въ педагогическомъ совѣтѣ, бѣготня по урокамъ, безкопечное повторенье одного и того же изъ года въ годъ, изо дня въ день, тоскливое, однообразное,—все это выѣдало душу, вытравляло изъ нея все живое.

Выцвѣтала душа,—выцвѣтало лицо.

Глаза утратили всякій блескъ, стали какими-то оловянными, лицо приняло угрюмо-озлобленное, тоскливое выраженіе, волосы рано посѣдѣли.

Онъ тянулъ свою лямку,—лямку человѣка, который долженъ работать, какъ загнанная почтовая кляча, за 100 рублей въ мѣсяцъ.

Для людей этой породы природа создаетъ какихъ-то особенныхъ женъ.

Женщины, которыя „пышно расцвѣтаютъ“, чтобы увлечь какого-нибудь молодого учителя и затѣмъ вянутъ, блекнутъ и въ два года превращаются въ какихъ-то мегеръ.

Глаза вваливаются, волосы рѣдѣютъ, щеки спадаютъ, губы и десны блѣднѣютъ, и онѣ начинаютъ страдать малокровіемъ, худосочіемъ и „нервами“.

Зубы желтѣютъ и покрываются зеленоватымъ налетомъ.

И въ довершеніе несчастья, — и въ это-то именно время этимъ бѣднымъ дамамъ и начинаетъ казаться, что онѣ неотразимо хороши.

Что стоитъ только сдѣлать платье „къ лицу“...

А такъ какъ на 100 рублей жалованья платьевъ особенно не нашьешься, то и начинаются дома сцены, ссоры, свары, истерики.

Кромѣ совсѣмъ особенныхъ женъ, имѣющихъ способность удивительно быстро дурнѣть и считать себя красавицами, природа создаетъ для этихъ людей еще и совсѣмъ особую породу кухарокъ.

Настоящихъ вѣдьмъ, которымъ какое-то удовольствіе доставляетъ бить хозяйскую посуду, причинять всяческій ущербъ и безъ того еле-еле держащемуся хозяйству, говорить дерзости господамъ, отравлять имъ кровь, которой у тѣхъ и безъ того мало, которая и безъ того вся перепорчена.

Скверный обѣдъ, тѣсная, неудобная квартира, грошевые кредиторы, съ ножомъ у горла требующіе уплаты, истерики жены, лишенія, необходимость от-

казывать себѣ во всемъ, кончая четверкой мало-мальски порядочнаго табаку.

Когда Артемію Филатовичу предлагали порядочную папироску,—даже она приводила его въ раздраженіе.

Чортъ возьми! Вѣдь курятъ же люди хоть табакъ порядочный. А тутъ и въ этомъ себѣ отказывай!

Со стороны можно подумать, что въ жизни Артемія Филатовича нѣтъ ничего, кромѣ однообразнаго, какъ стукъ маятника, добросовѣстнаго исполненія своихъ обязанностей и скуднаго питанія своего тѣла.

Присмотрѣвшись поближе, вы увидѣли бы, что все его существо отравлено желчью.

Вся жизнь наполнена безсильной злобой, скрытой ненавистью.

Ненавистью ко всему. Къ женѣ, этой отвратительной костлявой женщинѣ, съ рѣдкими волосами, которая корчится въ истерическомъ припадкѣ на продранномъ диванѣ и визжитъ:

— Вы загубили мою жизнь... мою молодость... вы, нищій, нищій, нищій...

Къ кухаркѣ, которая съ особымъ, какъ ему кажется, злорадствомъ говоритъ, подавая ему сапоги:

— А лѣвый сапогъ-то опять каши проситъ!

Которой онъ не рискуетъ даже замѣтить, что супъ плохъ, потому что, того и гляди, нарвешься на дерзость:

— Чай, не по десяти копеекъ за мясо платимъ, изъ восьмикопеечнаго-то разносоловъ не наваришь!

Онъ ненавидѣлъ, глубоко въ душѣ ненавидѣлъ своихъ товарищей, такихъ же каторжныхъ бѣдняковъ, какъ онъ, вѣчно завистливыхъ, злобныхъ, готовыхъ на каверзу, на сплетню, на что угодно изъ-за лишней

улыбки директора, пресмыкавшагося передъ сильными, дрожавшихъ за себя и боровшихся за жалкое существованіе интригой, наушничествомъ.

За жалкое существованіе, которое эти бѣдняги покупали такой дорогой цѣной.

Артемій Филатовичъ и презиралъ и ненавидѣлъ ихъ.

Ученики боялись его, какъ „стараго учителя“, не принимавшаго никакихъ отговорокъ.

Но онъ зналъ, что только страхомъ держитъ въ уздѣ эту армію маленькихъ негодяевъ, готовыхъ поднять его насмѣхъ, сдѣлать ему какую-нибудь мелкую каверзу.

Онъ ждалъ этой гадости каждую секунду.

Зналъ, что его за глаза зовутъ „жирафомъ“ и, входя въ классъ, видѣлъ, что на черной доскѣ нарисованъ уродливый жирафъ.

Онъ долженъ былъ дѣлать видъ, что не замѣчаетъ этого.

— Опять доска не вычищена? Дежурный, вытрите!

И слышалъ, какъ въ классѣ фыркали то тамъ, то здѣсь, пока дежурный нарочно медленно вытиралъ „жирафа“ съ длинной, безобразной шеей.

Онъ макалъ перо въ чернильницу, чтобъ поставить „отмѣтку“, и вдругъ ставитъ въ „журналѣ“ кляксъ. Чернильница была наполнена мухами.

Въ классѣ фыркали. Онъ стучалъ по столу и, дѣлая видъ, будто не замѣчаетъ, что это сдѣлано нарочно, вызываетъ „дежурнаго“:

— Что это?

— Мухи-съ!

И въ глазахъ дежурнаго сквозилъ еле сдерживаемый смѣхъ.

— Вы не смотрите за чернильницей!

— Я смотрѣлъ... Онѣ... сами-съ... налетѣли-съ...

Дежурный еле сдерживался, чтобъ не прыснуть со смѣху.

Онъ еле сдерживался, чтобъ не отодрать дежурнаго за уши.

Въ классѣ снова сдержанно фыркали.

Надъ нимъ глумились, потѣшались, и онъ смотрѣлъ на нихъ со злобой, съ ненавистью, выбирая, кого бы вызвать, кому бы „влѣпить единицу", кого бы заставить страдать.

— Если бы со мною случилось несчастіе, они радовались бы!

И онъ всей душой ненавидѣлъ этихъ мальчишекъ, которымъ была отдана вся его жизнь.

Этихъ лѣнтяевъ, въ которыхъ онъ долженъ былъ силою вдалбливать изо дня въ день одни и тѣ же правила.

И этотъ-то безъ времени состарѣвшійся, полусѣдой, измученный человѣкъ вступилъ въ борьбу, въ единоборство съ „Подгурскимъ Алексѣемъ", ученикомъ четвертаго класса.

Началось изъ-за пустяковъ.

Артемій Филатовичъ только что выдержалъ дома одну изъ обычныхъ безобразныхъ сценъ.

Жена валялась по дивану и вопила въ истерическомъ припадкѣ:

— Зачѣмъ вы женились, когда вы нищій? Зачѣмъ загубили чужую молодую жизнь?

Лавочникъ требовалъ уплаты и грозилъ подать къ мировому.

— Мнѣ надоѣло свои деньги получать по мелочамъ. Я и до дилехтора дойду! Я въ своемъ полномъ правѣ!

Кухарка орала въ кухнѣ нарочно, чтобы слышно было въ комнатахъ, что она „у нищихъ жить больше не согласна“.

И Артемій Филатовичъ убѣжалъ изъ этого ада

Онъ шелъ по улицѣ, ничего не замѣчая, ничего не видя передъ собою, кляня день, часъ, минуту своего рожденія.

Какъ вдругъ на перекресткѣ какой-то улицы его обдало грязью съ головы до ногъ.

Брызги грязи, вылетавшія изъ-подъ резиновыхъ шинъ, залѣпили одно стекло у очковъ.

Обстоятельство довольно обыкновенное во всякомъ городѣ, гдѣ есть грязь, бѣдняки, которые ходятъ пѣшкомъ, и богачи, которые летаютъ на резинѣ.

Но Артемію Филатовичу, именно въ эту минуту, показалось, что ему нанесли страшное оскорбленіе, ударили по лицу.

Ему, нищему, кинули грязью въ лицо, ему, труженику, ему, отдавшему всю свою жизнь на воспитаніе...

Онъ поднялъ голову.

Съ пролетавшей мимо коляски на резинѣ кланялся ученикъ IV класса, Подгурскій Алексѣй, въ узенькой „прусской“ фуражкѣ, въ ловко сшитой „въ талію“ шинѣли.

Кланялся насмѣшливо, иронически, какъ показалось Артемію Филатовичу.

Да могъ ли онъ иначе кланяться? Онъ резиновыми шинами обдалъ съ ногъ до головы грязью бѣднякаучителя, котораго глубоко презиралъ за его бѣдность.

— Мальчишка... дрянь... негодяй...

У Артемія Филатовича слезы подступили къ горлу.

Онъ стоялъ на мѣстѣ съ сжатыми кулаками.

— Ну, погоди же!

На слѣдующій день, едва Артемій Филатовичъ вошелъ въ коридоръ классовъ, какъ къ нему подлетѣлъ Подгурскій.

Чистенькій, изящный, немножко франтоватый, какъ всегда, съ тщательно расчесаннымъ, приглаженнымъ проборомъ, съ „гривкой“, кокетливо спускавшейся на лобъ, въ новенькой, ловко и красиво сидѣвшей курточкѣ, съ бѣлыми манжетами, выглядывавшими изъ-подъ рукавовъ золотыми запонками, съ черной широкой лентой съ золотой монограммой, свѣсившейся въ видѣ цѣпочки изъ бокового кармана, типъ, образчикъ, идеалъ школьнаго франтовства.

— Извините, Артемій Филатовичъ... Я, кажется, васъ вчера обрызгалъ... Но, право, это не нарочно... Кучеръ не сдержалъ: лошадь молодая, несетъ... Я хотѣлъ тогда же извиниться, но лошадь...

Онъ еще смѣетъ говорить ему въ лицо про лошадей, про кучеровъ, хвастаясь, рисуясь...

— Пошелъ прочь... мальчишка!..

— Жирафъ идетъ... злющій!—объявилъ дежурный.

Классъ затихъ.

Артемій Филатовичъ, дѣйствительно, вошелъ въ классъ мрачнѣе тучи.

Молча раскрылъ журналъ, не глядя на классъ, выдержалъ паузу, и среди мертвой тишины, такой тишины, что слышно было, какъ муха прожужжитъ, раздался его голосъ, звучавшій на этотъ разъ какимъ-то рѣзкимъ металлическимъ оттѣнкомъ:

— Подгурскій Алексѣй.

Тотъ вышелъ „къ доскѣ“.

— Отвѣчайте сегодняшній урокъ.

Подгурскій началъ

— Не такъ!

Подгурскій началъ снова.

— Не такъ!

Ученикъ остановился, онъ то блѣднѣлъ, то краснѣлъ, на глазахъ выступили слезы. Онъ замолчалъ

— Ну-съ, г. Подгурскій?

— Я... я не знаю... я не выучилъ урока.

— Единица.

Артемій Филатовичъ съ чувствомъ, съ толкомъ, съ разстановкой поставилъ огромную единицу, „во всю клѣтку“ журнала.

— На мѣсто!.. Надо уроки учить, а не на лихачахъ кататься, въ юнкерскихъ фуражкахъ... Прусскій юнкеръ какой!

Самое страшное уже случилось: единица была поставлена.

Подгурскій былъ обиженъ, обозленъ, сталъ дерзокъ и немножко нахаленъ:

— Ни на какихъ лихачахъ не ѣздилъ. Намъ не зачѣмъ на лихачахъ ѣздить. У папы, слава Богу, свои лошади есть! И фуражку ношу такую, какую папа позволяетъ. И никакого отношенія къ ученью моя фуражка не имѣетъ. Вотъ что.

Артемій Филатовичъ побагровѣлъ.

— Молчать!.. На мѣсто!.. Смѣешь еще разговаривать!..

Онъ никогда не говорилъ съ учениками на „ты“, всегда держался сухого и офиціальнаго „вы“ съ этими „бестіями“. Но теперь онъ не владѣлъ собой.

— Мальчишка... дрянь... негодяй...

— На мѣсто я пойду, а ругаться вы не имѣете никакого права!—ворчалъ Подгурскій, идя на мѣсто.

— Вонъ изъ класса!..

Артемій Филатовичъ кричалъ такъ, что слышно было въ сосѣднихъ классахъ.

Подгурскій круто повернулся на каблукахъ и дерзко, вызывающе, большими шагами вышелъ изъ класса.

Артемій Филатовичъ не помнилъ, что дѣлалъ: рвалъ, металъ, то ставилъ единицу, то самъ начиналъ подсказывать отвѣты и ставилъ пятерки слабымъ ученикамъ, „назло“, „въ пику“, чтобъ „доказать свое безпристрастіе“.

Едва пробилъ звонокъ, возвѣщающій конецъ класса, какъ онъ бросился въ „учительскую“ и заявилъ, что ему надо говорить съ г. директоромъ.

— Подгурскій Алексѣй...

— Вы такъ кричали, — поморщившись, перебилъ его директоръ, — что это? На кого это?

— Подгурскій Алексѣй мнѣ нагрубилъ... Я прошу строго взыскать...

— Подгурскій... Подгурскій... который это?.. Ахъ, помню... Это сынъ Подгурскаго... Онъ, кажется, недурно учился?

— Да... но онъ... Онъ грубъ... Онъ позволяетъ себѣ...

— Хорошо... Хорошо... Но кричать... Кричать не слѣдуетъ... Это не бурса, знаете... Кричать у насъ не слѣдуетъ... Подгурскій будетъ наказанъ... Но кричать не слѣдовало... Это некрасиво... Мѣшаетъ занятіямъ въ другихъ классахъ... Это не педагогично... Я васъ попрошу, чтобъ не повторялось...

Инспектору было поручено прочитать Подгурскому нотацію передъ всѣмъ классомъ.

Подгурскаго посадили на три часа въ карцеръ.

Подгурскій теперь хвастался передъ товарищами.

— Это все за то онъ мнѣ мститъ, что я его, жирафа, вчера съ ногъ до головы окатилъ грязью... Ну, да будетъ онъ у меня помнить!

Война между этимъ старикомъ и мальчикомъ была объявлена. Война не на животъ, а на смерть.

Подгурскаго вызывали „къ доскѣ“ только для того, чтобы постараться поставить единицу, двойку.

Его ловили, сбивали, — за самые хорошіе отвѣты не ставили больше тройки.

— Жирафъ мститъ,—говорилъ классъ, съ интересомъ слѣдя за этой войной между ученикомъ и учителемъ.

— Вы списали,—злобнымъ тономъ говорилъ Артемій Филатовичъ, возвращая Подгурскому тетрадку съ хорошо исполненнымъ урокомъ.

— Я не списывалъ!—холодно отвѣчалъ Подгурскій, глядя смѣло и дерзко ему въ глаза.

— На мѣсто!—кричалъ Артемій Филатовичъ, и возмущенный этимъ дерзкимъ взглядомъ и чувствуя, что Подгурскій правъ.

Его самого выводила изъ себя эта глупая война.

Но назадъ итти было трудно

— Что подумаетъ этотъ мальчишка? Скажетъ, что я сдался. Что будетъ говорить классъ?

Войну замѣчали всѣ.

— Эразмовъ хочетъ, кажется, добиться, чтобъ его пригласили на приватный урокъ у Подгурскаго! — шушукались коллеги Артемія Филатовича.

Онъ догадывался объ этихъ толкахъ, и чтобъ показать свое безпристрастіе, послѣ единицъ вдругъ началъ ставить Подгурскому пятерки.

Онъ терялъ голову, задыхался въ борьбѣ.

А борьба шла, не переставая ни на секунду.

Артемій Филатовичъ не могъ подойти къ доскѣ.

Онъ чувствовалъ, что на спину его стараго, побѣлѣвшаго по швамъ фрака устремленъ насмѣшливый, дерзкій взглядъ Подгурскаго, что тотъ слѣдитъ за каждымъ его движеніемъ, подмѣчаетъ и осмѣиваетъ каждый неуклюжій жестъ „жирафа“.

И, оборачиваясь, онъ встрѣчался глазами съ дѣйствительно устремленнымъ на него дерзкимъ, смѣлымъ, вызывающимъ взглядомъ.

Мальчишка бравировалъ.

Въ одинъ изъ „пятерышныхъ періодовъ“, когда, по выраженію класса, „жирафъ великодушничалъ“, классъ посѣтило пріѣзжее „лицо“

— Пріѣхалъ, — пронеслось по коридору.

Учениковъ не выпускали изъ классовъ даже во время „перемѣны“

Надзиратели осмотрѣли, всѣ ли по формѣ одѣты.

Сторожа курили уксусомъ.

Во всемъ зданіи царила мертвая тишина.

Уже по этому можно было судить, что это было важное посѣщеніе.

„Лицо“ зашло въ классъ Артемія Филатовича, подало ему руку, ласково поздоровалось съ учениками, посмотрѣло „журналъ“ и замѣтило:

— А вотъ, должно-быть, способный ученикъ. Двѣ пятерки подъ рядъ. Подгурскій Алексѣй.

Подгурскій вышелъ „къ доскѣ“, не бросивъ даже взгляда на Артемія Филатовича.

— Отвѣтьте мнѣ вчерашній урокъ.

Артемій Филатовичъ поблѣднѣлъ: Подгурскій несъ какую-то чушь.

„Лицо“ съ удивленіемъ посмотрѣло на ученика, на учителя.

— Позвольте... Да вѣдь вы вчера за это получили пять?

— Вчера онъ...—началъ было Артемій Филатовичъ, но замолкъ.

Подгурскій исподлобья бросилъ на него насмѣшливый, торжествующій взглядъ.

Присутствовавшій тутъ же директоръ то краснѣлъ, то блѣднѣлъ.

— Странно! — поморщилось „лицо“.—Они, видимо, у васъ плохо усвоиваютъ. Механически заучиваютъ... Плохо усвоиваютъ. Вчера зналъ, а сегодня не знаетъ... Садитесь, г. Подгурскій! Постарайтесь лучше усвоивать, что учите!

„Лицо“, не желая ставить единицъ, поставило ему „нотабене“.

— Очень странно! Плохо, плохо усвоиваютъ. Надо заботиться, чтобъ усвоивали.

И „лицо“, сухо попрощавшись съ учениками и учителемъ, вышло изъ класса, повторяя на ходу директору:

— На это надо обратить вниманіе: плохо усвоиваютъ.

— Подгурскій!—почти крикнулъ Артемій Филатовичъ.

— Что прикажете?

— Отчего вы не отвѣчали, какъ слѣдуетъ? Вѣдь вы...

— Я знаю этотъ урокъ. Только при нихъ сконфузился.

Онъ глядѣлъ дерзко, вызывающе, насмѣшливо торжествуя по бѣду. Въ его взглядѣ такъ и читалось:

— Что? Отплатилъ?

У Артемія Филатовича сжимало горло.

— Ну... дождитесь экзамена.

Къ экзамену Подгурскій, видимо, подзубрилъ: ему было нельзя провалиться, — въ этомъ классѣ онъ не могъ сидѣть два года.

Когда онъ вышелъ отвѣчать, — въ его взглядѣ, дерзкомъ, холодномъ, насмѣшливомъ, какъ всегда, было ясно написано:

— Не собьешь, братъ. Хочешь—не хочешь, а поставишь „удовлетворительно“. Подучилъ, знаю.

Онъ спокойно взялъ билетъ, развернулъ, небрежно положилъ обратно на столъ и хотѣлъ отвѣчать.

Но Артемій Филатовичъ спросилъ не по билету.

Что-то такое, что происходило года два тому назадъ.

Подгурскій смѣшался.

Артемій Филатовичъ задалъ еще болѣе трудный вопросъ.

У Подгурскаго на глазахъ выступили слезы.

— Я...я... этого... не помню...

Теперь ужъ Артемій Филатовичъ взглянулъ на него съ насмѣшливой, язвительной, торжествующей улыбкой.

— Какъ же такъ-съ? Въ пятый классъ держите, а того, что во второмъ проходятъ, не знаете... Единица!

И онъ медленно поставилъ единицу.

У Подгурскаго перекосилось лицо, слезы быстро-быстро закапали изъ глазъ, горло перехватило.

— Артемій Филатовичъ... какъ же это?.. Простите...

— Садитесь...

— Артемій...

— Садитесь...

И Артемій Филатовичъ улыбнулся въ первый разъ за все время, пока онъ разговаривалъ съ Подгурскимъ.

— Слѣдующій.

Подгурскій, пошатываясь, пошелъ на свое мѣсто...

Когда Артемій Филатовичъ на слѣдующій день появился во дворѣ школы, ученики, толпившіеся около подъѣзда до начала экзаменовъ, разступились передъ нимъ въ какомъ-то страхѣ. Многіе даже позабыли ему поклониться, глядя испуганными, широко раскрытыми глазами на „жирафа“

А на лѣстницѣ его встрѣтилъ директоръ, блѣдный, перепуганный, взволнованный.

— Подгурскій застрѣлился.

— Какъ?

— Застрѣлился вчера вечеромъ. Сегодня нашли тѣло...

У Артемія Филатовича подкосились ноги, онъ прислонился къ периламъ, чтобы не упасть.

Блѣдный, какъ полотно, онъ смотрѣлъ глазами, полными ужаса, на директора:

— Какъ застрѣлился?

— Говорю вамъ, что застрѣлился... Какъ! Какъ! Какъ люди стрѣляются!

Артемій Филатовичъ провелъ рукой по лбу, словно стараясь прійти въ себя:

— Я... экзаменовать не могу.. у меня... голова...

Онъ прошелъ, ничего не видя, черезъ толпу учениковъ, которая широко разступилась передъ нимъ, съ ужасомъ глядя на страшнаго „жирафа“.

Онъ шелъ, самъ не зная куда, зачѣмъ.

— Подгурскій Алексѣй, ученикъ IV класса, застрѣлился.

Около свѣжей могилки, заваленной вѣнками: „Отъ товарищей“, „Отъ убитаго горемъ отца“, „Отъ сестрички“, „Внучку Алешѣ отъ бабушки“, стоялъ на колѣняхъ, даже не стоялъ на колѣняхъ, а сидѣлъ на корточкахъ, — вотъ, какъ сидятъ дѣти, надолго поставленныя на колѣни, — Артемій Филатовичъ и плакалъ, закрывши руками лицо.

Онъ плакалъ тихо, беззвучно, старческими слезами, только спина и плечи вздрагивали отъ тихихъ рыданій.

О чемъ плакалъ этотъ бѣдный, преждевременно состарѣвшійся человѣкъ?

О чужой ли загубленной молодости?

О собственной ли загубленной, изломанной, исковерканной жизни, которая довела его до озлобленія на ребенка?

О томъ ли и о другомъ ли вмѣстѣ?

О многомъ плачетъ человѣкъ, если онъ заплачетъ въ сорокъ пять лѣтъ отроду.

Харьковская трагедія.

Въ одномъ изъ харьковскихъ департаментовъ разыгралась ужасная исторія.

Выключенный чиновникъ VII класса убилъ своего директора и ранилъ одного изъ начальниковъ.

Чиновникъ этотъ былъ болѣзненно-нервнымъ молодымъ человѣкомъ. Два года тому назадъ онъ даже покушался на самоубійство. У него была семья, мать, которую онъ очень любилъ, и которая видѣла въ успѣшности его чиновничьей карьеры единственную гордость, радость, счастье и спасеніе. Чиновникъ плохо шелъ по службѣ и медленно подвигался впередъ.

Онъ пробылъ въ званіи чиновника VII класса 2 года—предѣльный срокъ—и ему предстояло одно изъ двухъ: или быть удостоеннымъ званія чиновника VIII класса или убираться на всѣ четыре стороны.

Таковы департаментскія правила.

Чиновнику обѣщали, что его, пожалуй, удостоятъ званія VIII класса, но съ тѣмъ, чтобъ онъ перешелъ въ другой департаментъ.

Въ департаментахъ это дѣлается съ неудобными почему-либо чиновниками:

— На тебѣ повышеніе по службѣ, только убирайся въ другой департаментъ. Пусть тамъ съ тобою возятся, какъ знаютъ.

Но чиновникъ не выдержалъ повѣрочнаго испытанія для производства въ слѣдующій классъ, и ему предложили:

— Убирайся на всѣ четыре стороны

Онъ обругалъ своего директора, сказавъ:

— Вы меня обманули! Вы меня погубили!

И побѣжалъ къ матери, которая съ тревогой, съ волненіемъ ждала его возвращенія со службы.

Онъ успокоилъ свою мать, встрѣтившую его со слезами на глазахъ, съ блѣднымъ лицомъ, съ мучительнымъ вопросомъ: „Что? Жизнь? Смерть?“

Онъ пожалѣлъ бѣдную мать и успокоилъ ее

— Ничего, ничего, мама! Все идетъ отлично.

Онъ былъ спокоенъ? Онъ успокоивалъ другихъ?

По наружности, вѣроятно, очень спокоенъ. Быть-можетъ, излишне блѣденъ, что мать, конечно, приписала волненію, естественному въ столь важный моментъ. Быть-можетъ, если бы она взглянула пристальнѣе въ его глаза, она бы съ крикомъ ужаса схватила его за руки, силой не пустила бы его изъ дома.

— Что ты хочешь дѣлать?! Что случилось?!

Но она не видѣла выраженія его глазъ, быть-можетъ, потому, что ея глаза были застланы слезами.

Молодой человѣкъ ушелъ изъ дома, забѣжалъ купить револьверъ,— и въ магазинѣ показался спокойнымъ, иначе юношѣ не продали бы револьвера,— явился на мѣсто своей службы,— и здѣсь показался спокойнымъ, иначе бы его не пустили,— выстрѣлилъ въ директора и въ одного изъ дѣлопроизводителей.

— Это случилось въ школѣ! — скажете вы.

Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ. Это случилось въ департаментѣ, гдѣ никто не интересуется личностью юноши, никто не входитъ тепло и участливо въ его личную жизнь, гдѣ никому нѣтъ дѣла до его горя, печалей, страховъ, до его души, это случилось въ департаментѣ, гдѣ царитъ „дѣло“, гдѣ сухо и канцелярски говорятъ чиновнику:

— Здѣсь не благотворительное учрежденіе. Успѣвайте по службѣ или убирайтесь вонъ!

Сколько на Руси людей, теперь уже старыхъ или старѣющихся или бодрыхъ и несущихъ полезную службу родинѣ, которымъ эта харьковская трагедія напомнитъ эпизоды ихъ собственной юности.

Вы извините за то, что я разскажу вамъ „дѣтскую исторію“, но вѣдь и рѣчь идетъ о трагедіи изъ дѣтской жизни.

Дѣло было при переходѣ изъ 5-го класса въ 6-й. Я проболѣлъ около года, остался въ 5-мъ классѣ на второй годъ, и теперь вопросъ о переходѣ въ слѣдующій классъ былъ для меня вопросомъ жизни и смерти.

И не для меня только, — еще болѣе для моей больной матушки, которая тянулась изъ послѣдняго, чтобы дать мнѣ образованіе. Ей оставалось жить только нѣсколько мѣсяцевъ. Я зналъ это, мнѣ сказалъ докторъ. Много старческихъ немощей вели ее къ могилѣ, но самымъ страшнымъ было порокъ сердца. Волненіе, горе, ударъ былъ бы для нея смертельнымъ ударомъ.

Можете себѣ представить, въ какомъ состояніи я шелъ на экзаменъ, когда она перекрестила меня и отпустила, сказавши:

— Не бойся, я буду за тебя молиться Богу.

Теперь много пишутъ о воинахъ, прощающихся съ матерями, идя на поле битвы. Право, есть много мальчиковъ, которымъ приходится переживать совершенно то же, что этимъ взрослымъ людямъ. Даже еще худшее.

Маленькій классикъ, я, идя въ гимназію, несъ жизнь свою и своей матушки.

Предстоялъ самый страшный экзаменъ, — письменный латинскій, у учителя, который заставлялъ насъ зубрить цѣлыя страницы изъ Саллюстія и требовалъ, чтобы мы дѣлали переводы, не заглядывая въ текстъ. Можно было бы подумать, что намъ всю остальную жизнь придется говорить только по-латыни!

Отъ текста, который былъ намъ продиктованъ для перевода, вѣяло ужасомъ. Тутъ были самые трудные глаголы. Самыя рѣдкія исключенія. Самые изысканные обороты. Такъ не говорилъ и не писалъ ни одинъ римлянинъ!

И отъ насъ требовали, чтобы мы употребляли „самыя латинскія“ выраженія.

Этотъ текстъ грозилъ сотнями опасностей. Каждое слово скрывало за собой ловушку и гибель. Минута разсѣянности, минута ослабнувшаго вниманія, — и все погибло.

Можете себѣ представить, какъ я могъ сосредоточиться на латинскихъ исключеніяхъ, когда передъ моими глазами все время стояла мать. Спальня, полная запахомъ лѣкарствъ. Моя мать кое-какъ перебралась съ кровати, стоитъ на колѣняхъ и со слезами молится теперь передъ иконой, передъ которой затеплила лампадку.

— Цезарь собралъ два новыхъ легіона.

Я знаю, для чего здѣсь поставлено это „собралъ“. За этимъ простымъ словомъ спрятана опасность, и я ее во-время замѣтилъ. Есть такое особое латинское, спеціаное выраженіе, которое я сейчасъ и поставлю.

— Caesar duas novas legiones...

Самое нужное слово выскочило изъ головы.

— Collexit? Нѣтъ, не „collexit“. Conjunxit? Нѣтъ, не conjunxit! Какъ же? Какъ же?

Слово вертѣлось гдѣ-то около, словно звучало, и я не могъ его разслышать. Въ голову лѣзла всякая дрянь.

— Какъ же? Какъ же это особое, спеціальное слово? Вѣдь я зналъ его! Зналъ! Знаю и сейчасъ! Какъ оно?

Умъ больше ни надъ чѣмъ не работалъ. Дальше я не могъ переводить. Передо мной стояли Цезарь и его два новые легіона и никуда дальше не пускали.

И вдругъ мнѣ захотѣлось плакать, рыдать, къ горлу подступилъ какой-то комъ, въ глазахъ все завертѣлось.

Я вдругъ вскочилъ на парту, перешагнулъ черезъ товарища и подалъ учителю совершенно чистую тетрадь.

Онъ, я видѣлъ, взглянулъ, увидѣлъ, что ничего не написано, и подчеркнуто равнодушно положилъ ее въ кипу тетрадей лучшихъ учениковъ, уже кончившихъ переводъ.

Я выбѣжалъ изъ класса, потому что еще минута — и я бы зарыдалъ.

Я шелъ по улицѣ неровно, словно пьяный, ноги подкашивались и дрожали, въ головѣ все шло кру-

гомъ... Цезарь, матушка, два легіона... На перекресткѣ мнѣ преградили путь дравшіеся ломовые.

И вдругъ я не вспомнилъ,—нѣтъ, я увидѣлъ комментаріи Цезаря къ Галльской войнѣ, увидѣлъ страницу, строчку, гдѣ четко, ясно было напечатано:

— Caesar duas novas legiones conscripsit.

Вотъ оно спеціальное, техническое слово!

Но въ гимназію было возвращаться уже нельзя. Это не полагается.

И меня охватилъ ужасъ отъ того, что я сдѣлалъ.

Дома меня встрѣтила мать со страдальческимъ лицомъ, на которомъ я ясно прочиталъ:

— Ударь. Убей.

Сердце перевернулось, и я сказалъ:

— Кажется, выдержалъ!

— Я знала, я знала, я молилась Богу.

Я сказалъ, что иду къ товарищу, вернулся въ гимназію, узналъ у швейцара адресъ учителя латинскаго языка, почти до вечера въ нерѣшительности проходилъ по улицамъ, а передъ вечеромъ позвонился у его подъѣзда.

Мнѣ отворила дверь старушка, вѣроятно, его матушка. Онъ былъ бездѣтный вдовецъ.

— Прислуга-то ушла. Кого вамъ?

Пахло немножко кухней, было домовито, уютно, тепло. И отъ старой, потертой мебели вѣяло чѣмъ-то такимъ милымъ, славнымъ, гостепріимнымъ.

Учитель былъ въ сѣренькомъ пиджачкѣ, въ какомъ я его никогда не видалъ, и былъ только похожъ на того человѣка въ мундирѣ, котораго я зналъ. Только похожъ, — это былъ совсѣмъ другой человѣкъ.

Онъ встрѣтилъ меня на порогѣ своего кабинета съ любезной и радушной улыбкой и подалъ мнѣ руку, мягкую и теплую.

— Садитесь пожалуйста!

Онъ закурилъ папиросу и пододвинулъ ящикъ ко мнѣ:

— Вы курите?

— Благодарю... Нѣтъ... что вы?

Онъ разсмѣялся, и смѣхъ у него былъ мягкій и пріятный и добрый,— я въ первый разъ слышалъ, чтобы онъ смѣялся. И я даже не могъ бы раньше представить его смѣющимся.

— Мы здѣсь не въ гимназіи! Ничего! Курите, если вы курите.

— Я насчетъ сегодняшняго экзамена...

И стоило мнѣ упомянуть объ экзаменѣ, какъ его лицо стало такимъ же сухимъ, черствымъ, замкнутымъ, офиціальнымъ, какимъ я его видѣлъ много лѣтъ.

— Да, изволите ли видѣть, вы не написали ничего. Меня это удивило. Я давеча видѣлъ, что вы подали пустую тетрадь, но не хотѣлъ, конечно, останавливать: не хотите писать,— ваше дѣло. Но вѣдь вы; кажется, второй годъ?

— Да... Видите ли... Цезарь... conscripsit...

Я принялся ему объяснять, что со мной случилось.

Его лицо стало еще мрачнѣе, суше, холоднѣе.

— Какой вздоръ! Вы могли поставить другое выраженіе. Conscripsit, конечно, лучше, но это не такая уже грубая ошибка. А не написать ничего! Это не отговорка!

— Мама... у меня...

Я принялся разсказывать о болѣзни матери, путаясь, сбиваясь. Онъ вскочилъ съ мѣста и заходилъ по кабинету большими шагами.

— Намъ до этого нѣтъ никакого дѣла! У васъ матушка, у другого дѣдушка, у третьяго тетушка. Матушки, дядюшки, нянюшки! Это къ гимназіи не относится!

Его голосъ звучалъ сухо, раздражительно, насмѣшливо.

Но, вѣроятно, я былъ очень несчастенъ со своимъ разсказомъ, въ которомъ Цезарь перепутывался съ моей матушкой и латинскіе глаголы—съ семейными обстоятельствами. Или, можетъ-быть, ему просто не хотѣлось казнить въ своей квартирѣ.

Онъ подошелъ къ столу, нашелъ мою тетрадку, переправилъ единицу на двойку и сказалъ:

— Я попрошу, чтобъ вамъ дали переэкзаменовку.

Переэкзаменовку надо было держать у другого латиниста, знаменитости, составителя учебниковъ, принятыхъ во всей Россіи. Кажется, незнаніе его грамматики онъ принималъ за личное оскорбленіе.

Переэкзаменовка была сейчасъ же, до каникулъ, и у меня морозъ подралъ по кожѣ, когда я очутился подъ насмѣшливымъ, недружелюбнымъ взглядомъ нѣмца.

— Это вы тотъ, который не смогъ написать ни единаго слова?—встрѣтилъ меня онъ, неправильно выговаривая русскія слова.—Мы теперь посмотримъ, сможете ли вы отвѣтить одно слово изустно!

И онъ задавалъ мнѣ самые трудные вопросы и саркастически улыбался, когда я заминался:

— Ну, ну! Такъ ли же вы говорите, какъ пишете?

У меня голова шла кругомъ, какое-то чернильное пятно на столѣ почему-то захватило все мое вниманіе и отвлекало меня отъ вопросовъ.

„Батюшки, что же это я дѣлаю!“ въ ужасѣ подумалъ я.

И вдругъ, — до этой минуты я совершенно забылъ объ этомъ,—вдругъ мнѣ вспомнилось, что у меня въ карманѣ лежитъ ножъ. Я захватилъ его дома, потому что онъ попался мнѣ на глаза.

„Не выдержу—зарѣжусь“, подумалъ я тогда, теперь чортъ знаетъ, какія мысли понеслись въ головѣ.

Не длить этой пытки, выхватить ножъ, полоснуть себя по горлу на глазахъ у этого саркастически улыбавшагося учителя.

Но въ эту минуту онъ наклонился, обмакнулъ перо и началъ искать въ экзаменаціонномъ листѣ мою фамилію.

Все замерло во мнѣ.

— Три!

Я былъ переведенъ.

Я переэкзаменовывался послѣднимъ. Когда я выходилъ на гимназическій дворъ, нѣмецъ - латинистъ тоже выходилъ изъ учительскаго подъѣзда.

У подъѣзда его ждала жена, молодая нѣмочка, съ добродушнымъ лицомъ, въ веснушкахъ, и двое дѣтей,—младшій, бутузъ лѣтъ четырехъ, въ шапкѣ съ помпономъ.

Бутузъ схватилъ меня за шинель, когда я проходилъ мимо.

Я осторожно отвелъ его толстую ручонку. Бутузъ разсмѣялся, мать усмѣхнулась, нѣмецъ-латинистъ дружески мнѣ улыбнулся и кивнулъ головой.

Отчего они „на службѣ“ превращаются въ такихъ черствыхъ чиновниковъ, эти люди, которые въ частной жизни вѣдь такіе же милые люди? Почему они оставляютъ всѣ „штатскія чувства“ въ швейцарской, вмѣстѣ со штатскимъ платьемъ, и, переодѣваясь въ вицъ-мундиръ, застегиваютъ на всѣ пуговицы свою душу?

Мнѣ жаль всѣхъ трехъ жертвъ этой трагедіи, кровью обагрившей школу: и бѣднаго директора, оставившаго послѣ себя семью, и учителя, раненаго и пережившаго ужасъ, и мальчика, вся жизнь котораго теперь исковеркана и изломана.

Въ школѣ дѣлаютъ облегченія. Уничтожаютъ экстемпорале. Но прежде всего, главнѣе всего, должна исчезнуть канцелярская сухость, департаментская холодность, превращающая нашу школу въ „службу“ и учениковъ въ „маленькихъ чиновниковъ“

Маленькіе чиновники.

Я берусь за перо для того, чтобъ защищать теперешнюю среднюю школу. Не троньте этихъ круговъ! Этихъ восьми круговъ маленькаго гимназическаго ада!

— Я больше не знакомъ съ Карломъ. Карлъ негодяй: „онъ не зналъ родительнаго падежа отъ слова „domus".

Такъ разсуждали два маленькихъ школьника, когда Гейне выѣзжалъ изъ Дюссельдорфа.

У насъ Гейне этого бы не услыхалъ!

— Скворцовъ Евдокимъ — зубрила! Онъ знаетъ даже, какъ склоняется слово „domus".

Бьютъ зубрилъ, и истинные герои сидятъ на послѣдней скамейкѣ.

Поколѣніями школьниковъ выработалась традиція, что истинный негодяй, это — тотъ, кто всегда учитъ уроки. Къ нему относятся такъ, какъ въ департаментѣ относились бы къ чиновнику, который сталъ бы моментально предупреждать всякое желаніе начальства, который таскалъ бы работу къ себѣ на домъ, не пилъ бы, не ѣлъ, не спалъ, чтобъ только выполнить приказанія начальства.

— Выслужиться хочетъ, каналья!

Первый ученикъ — измѣнникъ класса. Гнуснѣйшій изъ измѣнниковъ. Онъ для того и зубритъ исключенія, чтобъ подвести своихъ товарищей.

— Вы не успѣли приготовить урока? А почему же Скворцовъ Евдокимъ успѣлъ?!

Первый ученикъ — первый не только по отмѣткамъ, но и по количеству получаемыхъ щелчковъ

Зато ученикъ, который списываетъ всѣ extemporalia, уроки просматриваетъ во время „перемѣнъ", отвѣчаетъ не иначе, какъ съ подсказкой, и даже книгъ домой не носитъ, а оставляетъ ихъ въ партѣ, — предметъ удивленія, благоговѣнія, зависти всего класса.

У насъ нѣтъ средней школы, у насъ есть канцелярія, въ которой маленькіе чиновники отбываютъ восемь лѣтъ тяжелой, утомительной, скучной службы. И никто не ходитъ учиться. Ходитъ отбывать ужасную повинность:

— Потому что это необходимо.

Прослужишь восемь лѣтъ въ гимназистахъ, дослужишься до студента. Точно такъ же, какъ папа, пробывъ десять лѣтъ въ колѣжскихъ секретаряхъ, дослужился до надворнаго совѣтника.

Тихо туманное утро столицы... По улицѣ медленно ползетъ маленькій клопъ-гимназистъ. Ранецъ за плечами, много думъ въ головѣ:

— Географія нынче не вызоветъ: въ прошлый разъ вызывала. Ариѳметику подзубрю во время большой перемѣны Латынь... Семенову щелчковъ надаю, чтобъ далъ extemporale списать! Нѣмецъ не великъ чортъ, да и Шустеръ Карлушка, нѣмчура, подскажетъ. Все!

А въ это время отецъ этого клопа, кутаясь въ ватное, поношенное пальто, идетъ на службу и разсуждаетъ:

— Съ докладомъ сегодня не ходить, доклады по четвергамъ. Значитъ, эти бумаги можно пока и въ сторону. Резолюцію по дѣлу № 000 надо заготовить. Ну, это можно на Иванова 32-го прикрикнуть: „Что вы баклуши бьете? Сядьте-ка вотъ да заготовьте резолюцію. Лучше будетъ“. Дѣло за № 00... Можно будетъ при отношеніи въ другое вѣдомство послать, оно и съ рукъ долой. Надо только отношеніе позаковыристѣе написать. Ну, это можно Иванову 35-му дать. Человѣкъ старательный, ему выдвинуться хочется. Кажется,—и все?

Скажите, велика ли разница между сыномъ и папашей? Между департаментомъ и гимназіей? Между отношеніемъ къ наукѣ и отбываніемъ канцелярской повинности?

Да и откуда этому клопу набраться другого отношенія къ наукѣ?

— Зачѣмъ непремѣнно нужно знать, что глаголъ „кераннюми“ употреблялся древними греками за 1000 лѣтъ до Рождества Христова для обозначенія „смѣшивать“ вино съ водой! Когда древніе греки смѣшивали муку съ пескомъ, они прибѣгали для этого къ другому глаголу. Зачѣмъ знать это, когда и греки эти ужъ давнымъ-давно померли, да и вина этого нѣтъ, и смѣшивать теперешнее вино нечего: оно ужъ смѣшано. Зачѣмъ? Никто въ цѣломъ мірѣ не дастъ на это отвѣта пытливому уму маленькаго мальчика.

Мама...

Я беру среднюю семью. Милую среднюю семью, гдѣ при дѣтяхъ говорятъ правду. Есть высшія семьи,

гдѣ при дѣтяхъ ведутъ педагогическіе разговоры, т.-е. лгутъ. Такъ съ дѣтства дѣтская душа отравляется ложью въ педагогическихъ цѣляхъ. Въ этой высшей семьѣ, если мальчикъ спрашиваетъ за вечернимъ чаемъ отца:

— Папа, для чего мнѣ нужно знать, что глаголъ „кераннюми“ древніе греки употребляли только тогда, когда дѣлали крюшонъ... т.-е. я хотѣлъ сказать, когда смѣшивали вино?

Отецъ дѣлаетъ очень серьезное и наставительное лицо:

— А какъ же, это весьма важно... Это необходимо знать, во-первыхъ, для того... Гмъ... для того... вообще шелъ бы ты въ дѣтскую! Девять часовъ!

И у мальчика, если онъ не безнадежно глупъ, невольно мелькаетъ въ головѣ совершенно логическій выводъ:

— Какой, однако, папа болванъ! Говоритъ, что очень важно, а почему — не знаетъ!

И когда мать, по выходѣ сына, замѣчаетъ:

— Зачѣмъ ты его выгналъ? Отчего было не объяснить ребенку?

Отецъ только разводитъ руками

— Да Господь его знаетъ, зачѣмъ необходимо знать этотъ гнусный греческій глаголъ. Рѣшительно, кажется, не зачѣмъ! Но вѣдь нельзя же говорить этого дѣтямъ! Семья должна поддерживать, а не разрушать авторитетъ школы!

Такъ дѣлается въ высшихъ семьяхъ, живущихъ по принципамъ, а въ средней семьѣ, гдѣ живутъ только на жалованье, это происходитъ иначе.

Мама, милая, но немного наивная, нерѣдко говоритъ, глядя на блѣдное, измученное лицо ребенка:

— Ну, латынь, это я еще понимаю. По-латински пишутъ рецепты. Но зачѣмъ ихъ заставляютъ зубрить по-гречески?

Ей, наслушавшейся, какъ зубритъ сынъ, часто снятся страшные сны.

Снится, что она идетъ за 1000 лѣтъ до Рождества Христова по римскому форуму, а кругомъ гуляютъ неправильные глаголы и сплетничаютъ про послѣднія исключенія изъ третьяго склоненія:

— Слышали, panis-то оказывается мужескаго рода!

— Ахъ, и не говорите! Такое безстыдство. Быть мужескаго рода и носить женское окончаніе!

— Изнѣженность и испорченность нравовъ!

— Piscis тоже мужескаго рода и даже cucumis!

— Да, много есть именъ на is masculini generis! Ничего не подѣлаешь!

Въ это время раздаются междометія, и на форумъ въѣзжаетъ Цезарь. Кай Юлій Caesar, мужескаго рода и третьяго склоненія. Бѣдная мать кидается къ его колесницѣ:

— Сжальтесь! Моему сыну, Иванову Григорію, можетъ-быть, знаете! Такой маленькій мальчикъ, онъ переводитъ теперь ваши „комментаріи“! Ему поставили единицу за то, что онъ не зналъ супина отъ глагола „do“.

Но Юлій Цезарь, мужескаго рода, только машетъ рукой.

— Меня самого, сударыня, съѣли герундіи и супины! Берегись!

И на ея глазахъ переѣзжаетъ ея сына тріумфальной колесницей

Бѣдная мать въ ужасѣ вскрикиваетъ и просыпается, а за чаемъ разсказываетъ страшный сонъ:

— Къ чему бы это? Непремѣнно Гришенькѣ по-латыни единицу поставятъ, и онъ не перейдетъ. Ахъ, кто это только эту латынь выдумалъ!

Отецъ...

Но отецъ и самъ-то рѣшительно не знаетъ, зачѣмъ онъ съ такой ясностью всю жизнь свою помнитъ:

— Дарейю Кай Парюсатидосъ гигнонтай пайдесъ дюо, пресбютеросъ мэнъ Артаксерксесъ, неотеросъ дэ Кюросъ.

Много очень важнаго, очень нужнаго, очень интереснаго въ жизни забылъ,—а вотъ „Дарейю“ съ „Парюсатидосъ“ помнитъ, и будетъ помнить до гробовой доски. Онъ когда-то пустилъ ихъ въ свою голову, и эти Дарій съ Парисатидой — жильцы, которые ничего не платятъ, но иногда производятъ шумъ по ночамъ. Зачѣмъ онъ ихъ держитъ въ головѣ? Разъ только онъ ихъ вспомнилъ. Это было ночью, когда онъ только что заснулъ, утомленный и измученный. Какъ вдругъ ему приснились Дарій и Парисатида, которые тутъ же при немъ родили двухъ сыновей и почему-то сказали, что это „по-гречески“, въ видѣ исключенія. Онъ вскрикнулъ отъ изумленія, проснулся и долго потомъ не могъ заснуть, наживъ головную боль.

Что хорошаго, полезнаго въ жизни произошло отъ того, что его заставили зазубрить про этихъ двухъ персидскихъ родителей?

Зачѣмъ онъ помнитъ это, зачѣмъ его учили этому?

Что скажетъ онъ, если сынъ спроситъ его, когда и сыну очередь дойдетъ до „Дарія и Парисатиды“:

— Зачѣмъ это?

Что скажетъ онъ, кромѣ:

— Начальство такъ велитъ!

И не будемъ осуждать отца, который еще не изолгался до того, чтобы давать родному сыну педагогическіе отвѣты.

Что бы отвѣтили мы по чистой совѣсти, если бы насъ спросили:

— Зачѣмъ мы учили и зачѣмъ мы помнимъ всю жизнь, что „много есть именъ на is masculini generis“?

Я знаю только одинъ случай, когда исключенія изъ 3-го склоненія принесли пользу.

Это было 4-го декабря, въ маленькомъ городкѣ, населенномъ, кажется, исключительно Варварами. По крайней мѣрѣ, собравшись на именины къ одной изъ Варваръ, мы никакъ не могли въ цѣломъ городѣ найти ни одного музыканта. Хоть бы дворника съ гармоникой! Всѣ были разобраны по именинницамъ. Тогда рѣшили танцовать подъ какіе-нибудь общеизвѣстные стихи, которые всѣ будутъ пѣть на какой-нибудь общеизвѣстный мотивъ.

Оказалось, что всѣ гости—классики по образованію и что всѣ мы помнимъ лучше всего исключенія изъ третьяго склоненія.

И мы танцовали кадриль, напѣвая на мотивъ: „Пропадай моя телѣга“:

„Amnis, orbis, glis, annalis,
„Fascis, ensis, cucumis“.

И при словѣ „cucumis“ какой-то семинаристъ, я помню, выкидывалъ даже какое-то особое антраша, которое называлъ „чисто парижскимъ“, но котораго я потомъ въ Парижѣ не видалъ.

Такъ принесли пользу обществу исключенія на is.

Но вѣдь нельзя же для такого случая восемь лѣтъ подъ рядъ зубрить латинскую грамматику.

И вотъ семья, правдивая семья, никакъ не можетъ поддержать въ сынѣ авторитета школы. А семья, гдѣ дѣтямъ лгутъ изъ педагогическихъ цѣлей... та тоже не можетъ поддержать авторитета школы. Чистымъ, яснымъ дѣтскимъ умомъ и сердцемъ ребенокъ угадываетъ, что ему лгутъ, когда говорятъ:

— О, это чрезвычайно важно въ жизни,—знать супинъ отъ глагола „do“.

И не вѣритъ.

— Что жъ, братъ, дѣлать! Нужно такъ! Учи латынь. Потерпи, послѣ хорошо будетъ!

Словно восемь лѣтъ подъ рядъ человѣку рвутъ зубы и говорятъ:

— Что жъ дѣлать! Потерпи!

Каждое утро, отправляя его въ школу, каждый вечеръ, усаживая зубрить уроки, ребенку говорятъ съ тоскливымъ видомъ:

— Что жъ дѣлать! Нужно! Это какъ служба.

Онъ ходитъ въ школу, какъ папа — въ канцелярію, и одна только мысль повергаетъ его въ изумленіе:

„Папа, этакая дылда, занимается по 4 часа въ день, да и то оретъ, что онъ усталъ. А меня, маленькаго заставляютъ сидѣть по 5 часовъ, да еще на домъ даютъ работы. Что завопилъ бы папа, если бы ему прибавили еще вечернія занятія?!

И ребенокъ инстинктивно требуетъ даже жалованья за свою службу.

— Мама, дай мнѣ 20 копеекъ!

— Это еще что за новости!

— А я на этой недѣлѣ ни одной двойки не получилъ!

Онъ хорошо служилъ, — заплатите ему жалованье, не считая наградъ къ Рождеству и Пасхѣ, когда онъ приноситъ четвертныя отмѣтки.

Можетъ ли школа внушить ему другое отношеніе къ „наукѣ“?

На эту тему даже скучно писать.

Не будемъ говорить ужъ о „латыни“ и греческомъ.

Разъ въ жизни я солгалъ такъ безсовѣстно, что затѣмъ 25 лѣтъ краснѣю.

Это было въ гимназіи. Насъ посѣтилъ товарищъ министра, погладилъ меня по головѣ и, меланхолически глядя на меня своими добрыми глазами, почему-то спросилъ:

— Какой языкъ ты больше любишь: латинскій или греческій?

— Греческій!—отвѣчалъ я, желая показать, что я достоинъ министерской ласки.

Съ тѣхъ поръ прошло 25 лѣтъ, а я все еще краснѣю за эту безсовѣстную ложь. Никогда я не вралъ до такой степени.

И Богъ вѣсть, какую печальную услугу я оказалъ моей родинѣ.

Вѣдь товарищи министровъ совершаютъ поѣздки для того, чтобъ на мѣстѣ ознакомиться съ результатами того или другого мѣропріятія, реформы, системы.

Кто знаетъ, быть-можетъ, вскорѣ было какое-нибудь засѣданіе, посвященное вопросу о классической системѣ. Быть-можетъ, всѣ уже склонялись къ мнѣнію противъ нея, какъ всталъ товарищъ министра и заявилъ:

— Позвольте, господа! Я самъ видѣлъ гимназистовъ, которые очень любятъ классическіе языки и,

слѣдовательно, заниматься этими языками для нихъ сущее наслажденіе. Да, да! Я помню, напримѣръ, Дорошевичъ Власій ужасно любитъ греческій языкъ.

Съ тѣхъ поръ прошло 25 лѣтъ... Я убѣдительно прошу пересмотрѣть всѣ архивы за 25 лѣтъ, и, если гдѣ-нибудь, въ „матеріалахъ для реформы средней школы", найдется ссылка на Дорошевича Власія, очень любившаго греческій языкъ,—вычеркнуть ее. Я совралъ.

Такого гимназиста нѣтъ.

„Латынь" и греческій любить, конечно, нельзя, какъ нельзя любить ту географію, которая преподается въ нашей средней школѣ.

Посмотрите на этого злосчастнаго коропуза съ покраснѣвшими глазами, который, закрывъ для большей натуги уши, раскачиваясь всѣмъ тѣломъ, повторяетъ безчисленное число разъ въ половинѣ 11 вечера:

„На Берберскомъ плоскогорьѣ въ изобиліи растутъ хвоя и жимолость"...

Можно ли любить науку, въ которой кучами навалены хвоя и жимолость?

Спросите у матерей, и онѣ разскажутъ вамъ объ ихъ дѣтяхъ, которыя, разметавшись въ жару, бредятъ по ночамъ:

— Мама, мама! Изъ города А. вышелъ поѣздъ со скоростью 7 верстъ въ часъ. Спрашивается: почемъ долженъ купецъ продавать берковецъ овса?

Исторія человѣчества начинается туманными сказками. Исторія Иловайскаго начинается цифрами: продолжается цифрами, кончается цифрами.

Она больше похожа на ариѳметику, переплетенную въ разбивку съ адресъ-календаремъ. Имена и цифры.

Ее учить такъ же интересно, какъ заучивать наизусть списокъ телефонныхъ абонентовъ:

— 91—Юлій Цезарь.

— 1113—Владимиръ Мономахъ.

Все что есть въ наукѣ интереснаго, увлекательнаго, живописнаго, способнаго поразить воображеніе ребенка и заинтриговать его умъ, тщательно вычеркивается.

Вы и хотѣли бы ѣсть, но вамъ даютъ голую кость отъ телячьей ноги, да еще и говорятъ при этомъ, что это именно и есть самая настоящая телятина! Вы никогда послѣ этого не спросите себѣ телятины. Вы будете бѣжать отъ телятины. Вы возненавидите телятину. Вы расхохочетесь, когда вамъ скажутъ:

— Я люблю телятину.

— Ха-ха-ха! Человѣкъ, который любитъ глодать кости! Вотъ идіотъ!

Здѣсь, въ средней школѣ, быть-можетъ, лежитъ начало нашего ироническаго отношенія къ наукѣ, какъ къ чему-то очень далекому отъ жизни, ироническое отношеніе „къ тому, что говорятъ гг. ученые“, предпочтеніе стараго, накопившагося хлама мнѣній, понятій, взглядовъ „тѣмъ новшествамъ“, которыя выдумываютъ ученые умники“.

Единственный „предметъ“, не заниматься которымъ считаютъ для себя унизительнымъ даже рыцари послѣдней скамейки, это—русскій языкъ. „Всякій развитой гимназистъ“ считаетъ себя обязаннымъ интересоваться этимъ „предметомъ“. Безъ этого не получишь среди товарищей званія „развитого гимназиста“.

Но и интересъ къ русскому языку гаснетъ, какъ только дѣло доходитъ до самой интересной части

„предмета“—до русской „словесности“. Заставивъ васъ вызубрить наизусть пятокъ Державинскихъ одъ, вамъ вскользь говорятъ:

— Затѣмъ былъ Пушкинъ!

И ставятъ колъ, если вы не умѣете разобрать „Слово о полку Игоревѣ“. А „Слово о полку Игоревѣ“ Е. В. Барсовъ вотъ шестьдесятъ седьмой годъ разбираетъ, четырнадцать томовъ написалъ и все еще, кажется, первое предложеніе разбирать не окончилъ.

Такъ, передъ этимъ побѣдоноснымъ Игоревымъ полкомъ, при громѣ Державинскихъ одъ бѣгутъ изъ преподаваемой въ средней школѣ россійской словесности Пушкинъ, Лермонтовъ, Тургеневъ... Даже самый интересный предметъ засушивается въ сухарь.

Средняя школа пріучаетъ насъ съ дѣтства заниматься дѣломъ, которое насъ не интересуетъ, не захватываетъ, относиться къ своему дѣлу казенно, починовничьи.

Въ этомъ и заключается ея великое воспитательное значеніе, полное соотвѣтствіе съ нашею жизнью.

Что такое Россія?

Собраніе людей, изъ которыхъ каждый недоволенъ тѣмъ дѣломъ, которое ему „приходится“ дѣлать.

Видали ли вы довольнаго своей профессіей человѣка?

Возьмемъ чиновника... Я не говорю о высшихъ, которые, какъ орлы, парятъ въ сферѣ высшихъ предначертаній и вьютъ свои проекты на вершинахъ высокихъ соображеній. Нѣтъ, возьмемъ обыкновеннаго, средняго чиновника, дѣлающаго обычное, повседневное дѣло. Можетъ онъ, будучи выведенъ въ какомъ-нибудь самомъ необыкновеннымъ фарсѣ, воскликнуть:

— Ахъ, какъ хорошо быть чиновникомъ!

Весь театръ расхохочется, но найдетъ:

— Совсѣмъ ужъ неправдоподобно!

— Чиновникъ? Чиновникъ отличается отъ обыкновеннаго смертнаго только однимъ. Всякій человѣкъ зависитъ только отъ собственнаго несваренія желудка, чиновникъ еще и отъ чужого. Несвареніе желудка у начальника,— и выговоръ, замѣчаніе, лишеніе награды! Жалованье — грошъ. Бьешься какъ рыба объ ледъ...

— Но зато дѣло-то, самое дѣло!

— Какое же это дѣло? Мы куда-то, что-то пишемъ, а оттуда только слышимъ, что это ни къ чему не ведетъ.

Вотъ и все.

Найдите мнѣ умнаго, развитого чиновника, который бы вѣрилъ въ жизненность и плодотворность „канцелярщины“.

Возьмемъ лицъ „либеральныхъ“ профессій. Большой адвокатъ въ отчаяніи отъ своего „ремесла“.

— Помилуйте, я являюсь тогда, когда все въ сущности ужъ почти кончено. Улики собраны, скомбинированы. Подсудимый на три четверти ужъ признанъ виновнымъ, — сидитъ на скамьѣ подсудимыхъ. Въ то время, когда идетъ настоящая-то, рѣшающая судьбу борьба, во время слѣдствія, меня и нѣтъ. Я похожъ на доктора, котораго зовутъ только къ умирающимъ. Много ли тутъ сдѣлаешь! Какая это профессія! Сколько душевныхъ мукъ перенесешь!

Маленькіе адвокатики, не задающіеся такими „вопросами“, тянутъ себѣ лямку, получаютъ „за выходъ“.

— Но дѣло вѣдь вы дѣлаете?

— Какое это дѣло! Такъ, кляузы поддерживаемъ.

Изъ писателей одинъ только Щедринъ завѣщалъ сыну:

— Нѣтъ выше и почетнѣе, какъ званіе русскаго литератора.

А всѣ, большіе и маленькіе, по три раза въ день вспоминаютъ слова Пушкина:

— Что это за несчастіе съ умомъ и талантомъ родиться у насъ.

Актеръ всегда говоритъ:

— Мой сынъ будетъ докторомъ... Мой сынъ будетъ инженеромъ...

— А актеромъ?

— Избави Богъ!

Одни есть — доктора. Тѣ всегда въ пьесахъ говорятъ очень громко о счастьѣ быть врачомъ, врачевать, помогать и исцѣлять...

Въ пьесахъ-то они очень довольны своей профессіей, а вотъ по статистикѣ-то никто такъ рано не умираетъ, какъ доктора отъ нервнаго переутомленія.

Скажите любому земскому врачу:

— Врачевать, — какъ это должно быть отрадно!

— Пичкать какими-то пилюлями, микстурами человѣка, которому нужны не порошки а хлѣбъ! Какъ это необыкновенно „отрадно“! Чувствовать на каждомъ шагу свое полное безсиліе!..

Изъ десяти русскихъ врачей врядъ ли одинъ даже и вѣритъ въ медицину. Заниматься изо дня въ день, всю жизнь дѣломъ, къ которому не лежитъ сердце! Какая это должна быть каторга! Я со слезами, напримѣръ, всегда читаю „Московскія Вѣдомости“. Бѣдный г. Гришмутъ! Что долженъ перечувствовать онъ,

садясь къ письменному столу. То же, что каторжанинъ, когда его приковываютъ къ тачкѣ.

Человѣкъ хотѣлъ бы писать настоящія, голыя, неприкрашенныя „донесенія“, а онъ долженъ издавать все-таки газету!

И такъ всю жизнь!

Это каторга съ прикованіемъ къ письменному столу! Школа спасаетъ насъ отъ многихъ тяжкихъ ощущеній.

Наша средняя школа пріучаетъ насъ къ тому, что намъ предстоитъ испытывать во всю нашу жизнь: заниматься дѣломъ, которое не по-душѣ, относиться къ нему „по-казенному“.

— Сбылъ, да и съ рукъ долой!

Въ этомъ достоинство нашей средней школы. Ея связь съ нашей жизнью Вотъ почему теперь, когда ее собираются реформировать и когда на нее со всѣхъ сторонъ сыплются нападки, я считаю своимъ долгомъ вступиться за нее и сказать:

— Не трогайте этихъ круговъ. Восьми круговъ гимназическаго... курса.

Они даютъ настоящую подготовку къ предстоящей жизни.

Для Петербурга теперешняя школа важна въ особенности потому, что съ дѣтства пріучаетъ людей быть маленькими чиновниками.

Гимназическій докторъ.

Педагогическій совѣтъ...

Это собраніе, которое судитъ при закрытыхъ дверяхъ, въ глубокой тайнѣ, какъ венеціанскій совѣтъ трехъ.

Которое разбираетъ дѣло по обвиненію Иванова Павла.

— Въ систематическомъ отколупываніи отъ стѣнъ штукатурки.

И Иванова Петра, обвиняемаго въ томъ, что онъ:

— Дерзко лаялъ въ коридорѣ собакой на учителя нѣмецкаго языка.

Это судилище, въ лексиконѣ котораго есть такія страшныя слова, какъ:

— Предложить взять изъ гимназіи.

— Исключить.

Отъ постановленій котораго зависитъ волчій или ангельскій видъ. Тотъ самый „кондуитный списокъ“, коего данныя, согласно извѣстному циркуляру, начальство университета принимаетъ въ соображеніе, какъ:

„При выясненіи предпочтительныхъ правъ того или другого лица на предоставленіе ему наличной студенческой вакансіи“.

Такъ и:

„При обсужденіи дисциплинарныхъ послѣдствій тѣхъ проступковъ, которые будутъ совершены въ бытность студентомъ".

Это, истинно, страшное судилище, безапелляціонно рѣшающее подчасъ всю дальнѣйшую участь человѣка.

Это грозное въ гимназическомъ быту.

Это „синее собраніе" наканунѣ важной и необходимой реформы.

Въ педагогическомъ совѣтѣ будетъ засѣдать также и гимназическій докторъ.

Можно только удивляться, какъ этого не было до сихъ поръ.

Можно диву даваться, какъ до сихъ поръ могли обходиться безъ этого, судя дѣтей.

Вызовите въ памяти то печальное время вашего дѣтства, которое вы провели въ гимназіи.

Сколько „судебныхъ ошибокъ" педагогическаго суда придетъ вамъ на память!

Я помню одного изъ моихъ товарищей, золотушнаго мальчика.

Это былъ настоящій страдалецъ.

Золотушныя раны покрывали его ноги сверху донизу.

Мы были друзьями, и я зналъ объ его страданіяхъ

Онъ съ ужасомъ ждалъ вечера, когда дома ему отмачивали теплой водой и отдирали присохшіе къ ранамъ бинты

Эти порой присыхавшіе бинты причиняли ему постоянную боль. Золотушныя раны нестерпимо чесались.

И когда онъ расчесывалъ ихъ до крови, онѣ саднѣли цѣлыми часами.

Трудно было при такихъ условіяхъ отличаться спокойствіемъ и ровнымъ настроеніемъ духа.

Измученный мальчикъ былъ нервенъ, раздражителенъ.

И потому считался образцомъ дурного поведенія, строптивости, дерзости и непослушанія.

Онъ вѣчно сидѣлъ послѣ класса:

— За грубый отвѣтъ помощнику класснаго наставника.

— За упорное непослушаніе, выразившееся въ отказѣ стать въ уголъ.

— За притворство.

Къ этому „капризу Ивановичу“ относились особенно строго:

— Вѣчно безпричинный плачъ.

Онъ числился:

— Неисправимый.

Изъ поведенія у него было три. Мальчикъ висѣлъ въ гимназіи на волоскѣ.

Однажды кто-то изъ товарищей, поссорившись и зная, что у мальчика болятъ ноги, ударилъ его по ногѣ.

Несчастный мальчикъ, не помня себя отъ боли, кинулся, исколотилъ, исцарапалъ, искусалъ противника

Вообще:

— Проявилъ несвойственную ребенку жестокость.

Педагогическій совѣтъ постановилъ:

— Предложить родителямъ взять его изъ гимназіи.

А директоръ добавилъ матери:

— Только изъ снисхожденія къ вамъ, сударыня, педагогическій совѣтъ не постановилъ прямо исключить вашего сына безъ разговоровъ. Вашъ сынъ отличается нетерпимымъ ни въ какомъ учебномъ заведеніи характеромъ!

Гдѣ теперь этотъ страшный преступникъ, „виновный въ золотухѣ“?

Кончилъ ли онъ гдѣ-нибудь курсъ, или его отовсюду выгоняли за „нетерпимый ни въ одномъ учебномъ заведеніи характеръ“?

И всѣ педагогическіе совѣты рѣшали:

— Такой субъектъ не долженъ получать образованіе!

Влачитъ ли онъ жизнь свою недоучкой и неудачникомъ, или ему удалось какъ-нибудь кончить курсъ, и онъ самъ теперь педагогомъ и самъ постановляетъ въ педагогическомъ совѣтѣ приговоры относительно дѣтей:

— Исключить за нетерпимый ни въ какомъ учебномъ заведеніи характеръ!

На этомъ страшномъ судѣ до сихъ поръ безъ защиты, безъ свидѣтелей, безъ экспертизы гимназическій докторъ можетъ явиться и цѣннымъ свидѣтелемъ, и необходимымъ экспертомъ, и защитникомъ маленькаго подсудимаго.

— Позвольте!—можетъ сказать гимназическій докторъ, присутствуя при разборѣ дѣла объ Ивановѣ Павлѣ, обвиняемомъ въ „упорномъ непослушаніи распоряженіямъ начальства“.—Позвольте! Это „упорство“ объясняется очень просто. Мальчикъ задерганъ. Его сегодня ставили въ уголъ, вчера оставляли послѣ классовъ, третьяго дня онъ сидѣлъ въ карцерѣ. Я

знаю этого ребенка. У него разбитые нервы, и эти наказанія, которыя сыплются на него безъ передышки, только обостряютъ болѣзнь, дѣлаютъ мальчика раздражительнымъ, какъ вы говорите, — несноснымъ и нетерпимымъ. Ему нужны двѣ недѣли отдыха, а не два часа карцера, и пріемъ kaly bromati, а не единица!

Гимназическій докторъ это можетъ сказать, но гимназическій докторъ ничего подобнаго не скажетъ.

Теперешній гимназическій докторъ.

Что такое гимназическій докторъ?

Чтобы заработать двѣ сотни въ мѣсяцъ, онъ состоитъ врачомъ при двухъ - трехъ гимназіяхъ, въ институтѣ, въ нѣсколькихъ пріютахъ, занимается въ больницѣ.

Это совмѣститель, который летаетъ съ мѣста на мѣсто, чтобъ заняться въ теченіе „свободнаго часа“.

Вы помните эту фигуру?

Гимназическій докторъ, около котораго стоитъ вѣчный іодъ и лежитъ вѣчный ляписъ.

— Гланды припухли. Смазать іодомъ.

— Откройте ротъ. Скажите „а“.

Докторъ наѣзжаетъ въ гимназію разъ-два въ недѣлю.

И тогда помощникъ класснаго наставника обходитъ классы:

— Кто къ доктору?

Ребенку самому предоставлено дѣлать діагнозъ, здоровъ онъ или боленъ.

Къ доктору, предварительно натерши рукавомъ докрасна лобъ, идутъ по большей части тѣ, кому нужно отпроситься отъ труднаго урока.

— У меня голова болитъ, отпустите домой.

У мальчугановъ есть своя политика, свои расчеты.

Этотъ чувствуетъ себя больнымъ, но ему надо „поправиться“, его сегодня должны вызвать изъ исторіи, онъ приготовилъ урокъ.

Тотъ сегодня надѣется списать диктантъ и получить хорошую отмѣтку.

Этотъ боится, чтобъ его не отправили домой, потому что они уговорились съ Ивановымъ Петромъ итти послѣ классовъ смотрѣть коньки или дуть на улицѣ возвращающихся домой реалистовъ.

Докторъ начинаетъ „частить“ въ гимназію, когда въ городѣ вспыхиваетъ эпидемія кори, скарлатины, вѣтряной оспы.

Тогда гимназистовъ строятъ рядами, какъ солдатъ.

— Раскройте ротъ. Скажите: „а“.

Гимназическій докторъ перещупываетъ сотни гландъ, пересчитываетъ сотни пульсовъ, видитъ сотни раскрытыхъ глотокъ:

— А!

И врядъ ли замѣчаетъ хоть одно лицо, хоть одного гимназиста.

Что можетъ сказать такой „летучій голландецъ“ на педагогическомъ совѣтѣ?

Рѣшается участь человѣка.

Дѣло объ Ивановѣ Павлѣ, обвиняемомъ:

— Въ упорномъ нежеланіи подчиняться начальству.

„Ивановъ Павелъ! Ивановъ Павелъ! Кажется, Ивановъ Павелъ говорилъ „а“, а я ему мазалъ ляписомъ. А можетъ-быть, Иванову Петру, а можетъ-быть и Иванову Николаю. Кажется, у него гланды. А можетъ-быть, это и не у него? А можетъ-быть, это и въ другой даже гимназіи, и не у Иванова, а у Петрова!“

— Докторъ, ваше мнѣніе относительно Иванова Павла?

— Гмъ... Кажется, мальчикъ съ гландами... И больше ничего...

Что больше можетъ сказать теперешній гимназическій докторъ?

Дѣти его интересуютъ въ одномъ только отношеніи:

— Не представляютъ ли они изъ себя заразы?

Все его вниманіе устремлено на одно:

— Нѣтъ ли кори? Скарлатины? Дифтерита? Вѣтряной оспы?

Онъ является не пользовать, а полоть дѣтей, какъ полютъ огороды.

Что такой докторъ можетъ сказать относительно Иванова Павла, участь и, быть-можетъ, вся дальнѣшая жизнь котораго рѣшается въ эту минуту?

Была ли у Иванова Павла свинка?

— Въ вѣтряной оспѣ не замѣченъ. И въ дифтеритномъ отношеніи опасности не представляетъ.

Только!

Участіе такого врача въ педагогическомъ совѣтѣ равняется нулю.

Еще если педагогическій совѣтъ захочетъ въ какомъ-нибудь отдѣльномъ случаѣ, рѣшая вопросъ объ исключеніи, произвести экспертизу:

— А дѣйствительно ли столь пороченъ сей младенецъ? Или мы собираемся жестоко наказывать больного,—да еще ребенка,—только за то, что онъ боленъ?

И попросить доктора:

— Посмотрите подсудимаго.

Но во всякомъ случаѣ докторъ своимъ мнѣніемъ, указаніемъ, совѣтомъ, протестомъ будетъ участвовать

только тогда, когда нѣчто преступное, ужасное, невозможное и „нетерпимое“ съ гимназической точки зрѣнія будетъ виновнымъ совершено.

А не допустить до этого?

А обратить вниманіе педагогическаго совѣта:

— Господа, во 2-мъ классѣ ученикъ Ивановъ Павелъ переутомленъ, — ему нуженъ отдыхъ. Въ 3-мъ классѣ у Иванова Петра вконецъ разбиты нервы, а его еще больше озлобляютъ безпрерывными наказаніями. При такихъ условіяхъ нельзя ручаться, что съ мальчикомъ произойдетъ. Онъ боленъ, а вы его наказываете и „исправляете“ суровыми мѣрами. Недалеко и до несчастья.

Можетъ ли все это сдѣлать „летучій докторъ“, налетающій на гимназію на часъ, на два въ недѣлю, видящій гланды, слышащій „а“, считающій пульсъ, но никогда не видавшій ни одного лица, не знающій ни одного гимназиста?

Кто защититъ мальчугана, котораго часто считаютъ „неспособнымъ“ или „неисправимымъ лѣнтяемъ“, когда онъ только переутомленъ, „нетерпимымъ ни въ одномъ учебномъ заведеніи“, когда онъ только боленъ?

Даже взрослаго больного не судятъ и не наказываютъ.

А ребенка?

И вообще-то дѣтей судить смѣшно. А ужъ безъ защиты...

Единственнымъ защитникомъ мальчугана, единственнымъ основательнымъ экспертомъ могъ бы быть только постоянный гимназическій врачъ.

Не разбрасывающійся по десятку учебныхъ заведеній совмѣститель, врачъ съ налета, а постоянно состоящій при одной гимназіи врачъ.

Врачъ, на глазахъ котораго Ивановъ Павелъ росъ, проходилъ курсъ, для котораго „Ивановъ Павелъ“ былъ бы не звукомъ пустымъ, а постояннымъ субъектомъ, организмъ и болѣзни котораго доктору хорошо извѣстны.

Только такой врачъ можетъ дать педагогическому совѣту дѣльное, вѣское и полезное указаніе, предохранить ученика отъ заболѣванія, отъ переутомленія, отъ нервнаго разстройства, при случаѣ защитить больного.

Это спасло бы школу отъ тысячъ несправедливостей.

Конечно, грошовые и смѣшные „штаты“ гимназическихъ врачей при этомъ должны быть измѣнены.

Но какъ будто это дорого будетъ стоить? И какъ будто, — особенно среди молодыхъ врачей, — у насъ трудно набрать отличныхъ постоянныхъ гимназическихъ докторовъ даже на скромное вознагражденіе?

У насъ, гдѣ врачебной помощи такъ мало и гдѣ все-таки перепроизводство докторовъ.

У насъ, гдѣ сто рублей въ мѣсяцъ считается нормой, и хорошей нормой вознагражденія врачу на службѣ.

Молодые, еще горячіе послѣ университета, еще ретивые врачи отдали бы всю душу этому новому у насъ дѣлу, — медицинской защитѣ учащагося юношества.

И, идя рука объ руку съ указаніями медицины, дѣйствительно заботясь о здоровьѣ учащихся, наша средняя школа могла бы оказать то „истинно-сердечное попеченіе“ объ юношествѣ, которое отъ нея требуется.

Русскій языкъ.

Этой весной въ Парижѣ я зашелъ въ одну знакомую семью.

Меня встрѣтилъ мальчишка, ликующій и радостный:

— А мы съ папой сегодня въ Салонъ идемъ. Папа меня беретъ.

— Да?

— Въ награду!

— Что жъ ты такого надѣлалъ, что тебя награждать нужно?

— А онъ сегодня принесъ первое сочиненіе! Съ отмѣткой: „очень хорошо!“—похвасталась мамаша.

Всегда надо дѣлать видъ, будто страшно интересуешься успѣхами дѣтей.

— Ну, ну! Покажите ваше сочиненіе, cher maitre!

Дѣтямъ въ школѣ было предложено посѣтить въ одинъ изъ праздничныхъ дней „Jardin d'acclimatisation“ и затѣмъ описать этотъ зоологическій садъ въ формѣ письма къ товарищу, живущему въ провинціи.

Мой маленькій пріятель — живой и умный мальчикъ. Большой острякъ. Онъ любитъ приправить свою болтовню шуткой, — и иногда острить очень удачно.

Не удержался онъ отъ шутки и въ „сочиненіи“.

Немножко лѣнтяй, онъ, чтобъ не писать слишкомъ много, заканчивалъ свое коротенькое сочиненіе такъ:

„Впрочемъ, для того, чтобъ познакомить тебя со всѣми чудесами „Jardin d'acclimatisation", мнѣ пришлось бы написать цѣлую книгу. Можетъ-быть, когда-нибудь я это и сдѣлаю. Но, принимая во вниманіе мою лѣнь, я увѣренъ, ты самъ до тѣхъ поръ успѣешь побывать въ Парижѣ и посмотрѣть все своими глазами".

„Сочиненіе" было написано хорошимъ, правильнымъ французскимъ языкомъ, и подъ нимъ была помѣтка:

„Очень хорошо".

— Ну, а это мѣсто? — спросилъ я.

— Ахъ, учитель ужасно смѣялся, когда читалъ вслухъ это мѣсто. И товарищи тоже!

Мнѣ вспомнилось, какъ меня однажды дернулъ чортъ пошутить въ сочиненіи.

Темой было: „Терпѣніе и трудъ все перетрутъ".

Среди академическихъ разсужденій на эту тему нелегкая меня дернула мимоходомъ вставить фразу:

„Да, конечно, терпѣнье и трудъ все перетрутъ, напримѣръ, здоровье".

Насталъ день „возвращенія тетрадокъ

Этого дня мы всегда ждали съ особымъ нетерпѣніемъ.

Предстоялъ цѣлый часъ издѣвательства надъ слабѣйшими товарищами.

Учитель читалъ вслухъ худшія „сочиненія", острилъ по поводу нихъ, и мы помирали съ хохота надъ авторами. Особенно старались помирать съ хохота тѣ, кто сидѣлъ на виду у острившаго учителя.

Кто-нибудь изъ товарищей стоялъ у дверей и выглядывалъ въ коридоръ.

— Съ тетрадками идетъ! Съ тетрадками! — возвѣщалъ онъ всеобщую радость, опреметью кидаясь на мѣсто.

Итакъ, насталъ день возвращенія тетрадокъ.

Но, противъ обыкновенія, учитель явился сумрачный. Лицо ничего хорошаго не предвѣщало.

Сѣлъ на каѳедру, отмѣтилъ журналъ, выдержалъ длинную, томительную паузу, развернулъ тетрадку, лежавшую наверху, и вызвалъ:

— Дорошевичъ Власій!

Дорошевичъ Власій поднялся смущенный.

— Дорошевичъ Власій! Вы позволили себѣ неумѣстную и неприличную шутку...

Бѣлокурый нѣмчикъ, сидѣвшій рядомъ на партѣ, поспѣшилъ испуганно отодвинуться отъ меня. Онъ всегда отодвигался отъ тѣхъ, кто получалъ единицу или подвергался наказанію. Товарищи глядѣли на меня, кто съ испугомъ, кто съ сожалѣніемъ, кто со злорадствомъ.

— Вы позволили себѣ неумѣстную и неприличную шутку въ вашемъ сочиненіи...

— Господинъ учитель...

— Потрудитесь молчать! О вашей неумѣстной и неприличной шуткѣ будетъ мною, какъ класснымъ наставникомъ, доведено до свѣдѣнія педагогическаго совѣта. Теперь же потрудитесь отправиться къ г. инспектору. Г. инспектору уже извѣстно о неумѣстной и неприличной шуткѣ, которую вы себѣ позволили. Ступайте! Никакихъ разговоровъ! Ступайте!

Толстый инспекторъ, котораго мы звали „турецкимъ барабаномъ“, окинулъ меня недружелюбнымъ взглядомъ съ головы до ногъ.

— Что вамъ? Почему вы не въ классѣ?

— Ученикъ такого-то класса, такого-то отдѣленія, Дорошевичъ Власій! — робко отрекомендовался я.

Толстый инспекторъ покраснѣлъ:

— А! Это вы? Гдѣ у васъ пуговица?

Онъ кричалъ и отъ крика началъ синѣть:

— Гдѣ у васъ пуговица? Почему пуговица на мундирѣ не застегнута? Гдѣ вашъ галстукъ?

— Сползъ...

— Я вамъ покажу — сползъ. Пуговицы не застегнуты, галстукъ не на мѣстѣ, позволяете себѣ неумѣстныя и неприличныя шутки. Что вы о себѣ думаете? Будутъ вызваны ваши родители! Идите къ г. директору. Г. директоръ знаетъ о томъ, что вы себѣ позволили.

Къ актовому залу, гдѣ сидѣлъ директоръ, я подобрался уже совсѣмъ на цыпочкахъ, проводя пальцемъ по пуговицамъ и щупая, здѣсь ли галстукъ.

— Скажите, что Дорошевичъ Власій!

Мы всегда, когда предстояла гроза, говорили сторожамъ „вы“. Въ обыкновенное время мы говорили имъ „ты“ и ругали дураками.

Съ трепетомъ я вступилъ въ великолѣпный актовый залъ, съ мраморными стѣнами, на которыхъ висѣли золотыя доски съ фамиліями кончившихъ съ медалью.

Посреди, за длиннѣйшимъ столомъ, покрытымъ зеленымъ сукномъ, сидѣлъ г. директоръ, маленькій, весь высохшій человѣкъ, ходившій не во фракѣ, а въ сюртукѣ съ золотыми пуговицами, что придавало ему въ нашихъ глазахъ какое-то особое величіе.

Г. директоръ посмотрѣлъ на меня поверхъ очковъ, помолчалъ минуты двѣ и крикнулъ:

— Что у васъ за волосы?

Я схватился за волосы.

— Что за волосы, я васъ спрашиваю? Какіе у васъ волосы? А?

Я растерялся окончательно.

— Б-б-бѣлокурые!

Директоръ даже вскочилъ, словно подъ него вдругъ насыпали угольевъ.

— Вы позволяете себѣ неприличныя и неумѣстныя шутки еще въ разговорахъ съ начальствомъ? Вы позволяете себѣ являться съ непричесанными волосами, да еще имѣете смѣлость такъ отвѣчать! Молчать! Послѣ классовъ сядете въ карцеръ! Извольте итти! Слышали?

Чортъ возьми, сразу было видно, что имѣешь дѣло съ классиками! Они громили меня, какъ Катилину!

И вотъ послѣ классовъ я очутился на шесть часовъ въ карцерѣ. Запертый, весь полный скверны, внутри и снаружи: пуговица не застегнута, въ сочиненіяхъ неумѣстныя и неприличныя шутки, волосы не острижены, галстукъ сползъ.

Въ результатѣ: нуль за сочиненіе,— нулей у насъ вообще не ставили, но на этотъ разъ рѣшено было для примѣра поставить,—сбавили баллъ съ поведенія, накричали, выдержали въ карцерѣ, вызвали родителей.

Для большей острастки имъ объявили еще:

— Въ слѣдующій разъ вынуждены будемъ предложить вамъ взять вашего сына изъ гимназіи. Подобные воспитанники не могутъ быть терпимы.

И все изъ-за того, что нелегкая меня дернула написать въ сочиненіи то, что я подумалъ!

Меня заинтересовали „сочиненія“ во французской школѣ, и я обратился къ моему маленькому другу:

— Нельзя ли достать сочиненія твоихъ товарищей? Мнѣ хотѣлось бы посмотрѣть.

— А вотъ придите къ намъ въ воскресенье завтракать,—у меня будутъ двое товарищей. Я имъ скажу, чтобъ захватили тетрадки.

Одинъ изъ этихъ маленькихъ писателей оказался человѣкомъ ученымъ. Онъ посмотрѣлъ на свою задачу серьезно, написалъ длинное сочиненіе и щеголялъ ученостью. Онъ сообщалъ своему воображаемому другу не только о внѣшнемъ видѣ звѣрей, но и объ ихъ нравахъ, привычкахъ, образѣ жизни на волѣ. Сообщалъ, что львы, тигры и пантеры принадлежатъ къ „семейству кошекъ“ и т. п.

Другой былъ большой фантазеръ. Видъ каждаго звѣря напоминалъ ему какую-нибудь страницу изъ прочитанныхъ путешествій. И онъ описывалъ больше охоту на этихъ звѣрей. Описывалъ съ такимъ увлеченіемъ, словно участвовалъ во всѣхъ этихъ охотахъ самъ.

„Бить бизона пулей въ голову положительно невозможно!—восклицалъ онъ.—Пуля сплющится, и охотникъ долженъ выждать моментъ, когда разъяренное животное кинется на него, наклонивъ голову, и тогда бей пулей въ крутую шею!“

Всякій писалъ по-своему. Всякій жилъ въ „сочиненіи“ своей жизнью. Каждый писалъ то, что онъ дѣйствительно думалъ.

А учитель слѣдилъ за тѣмъ, чтобъ мысли были изложены правильнымъ роднымъ языкомъ, и ставилъ за это изложеніе „очень хорошо“ и серьезному сочинителю, щеголявшему ученостью, и мальчику, несомнѣнно обладавшему творческой фантазіей, и ребенку, складъ ума котораго расположенъ къ шуткѣ.

Развѣ художественная фантазія или остроуміе — недостатки?

Дѣти, это — цвѣты. Нельзя же вѣдь требовать, чтобъ всѣ цвѣты одинаково пахли.

Пусть дѣти умѣютъ хорошо излагать то, что думаютъ. Въ этомъ и состоитъ обученіе родному языку.

Но никто не кладетъ свинцоваго штампа на ихъ мысль:

— Думай вотъ такъ-то.

А у насъ!

Урокъ русскаго языка.

— Разборъ „Птички Божіей“. Мозговъ Николай!

Встаетъ маленькій и уже перепуганный Мозговъ Николай.

— Мозговъ Николай! Разберите мнѣ „Птичку Божію“. Что хотѣлъ сказать поэтъ „Птичкой Божіей“.

Мозговъ Николай моргаетъ вѣками.

— Ну! Мозговъ Николай! Что хотѣлъ сказать поэтъ?

— У меня мамаша больна!—говоритъ вдругъ Мозговъ.

— Что такое?

— У меня мамаша больна. Я не знаю, что хотѣлъ сказать поэтъ. Я не могъ приготовить.

— У Мозгова Николая мамаша всегда бываетъ больна, когда Мозговъ Николай не знаетъ урока. У Мозгова Николая очень удобная мамаша.

Весь классъ хихикаетъ.

— Я ставлю Мозгову Николаю „нотабене“. Голиковъ Алексѣй! Что хотѣлъ сказать поэтъ „Птичкой Божіей“?

— Не знаю!

— Голиковъ Алексѣй не знаетъ. Въ такомъ случаѣ Голиковъ Николай.

Голиковъ Николай молчитъ.

— Голиковъ Алексѣй и Голиковъ Николай никогда ничего не знаютъ. Постниковъ Иванъ.

— У меня, Петръ Петровичъ, нога болитъ!

— При чемъ же тутъ поэтъ?

— Я не могу, Петръ Петровичъ, стоять!

— Отвѣчайте въ такомъ случаѣ сидя. Постниковъ Иванъ и сидя не знаетъ, что хотѣлъ сказать поэтъ. Въ такомъ случаѣ, Ивановъ Павелъ!

— Позвольте выйти!

— Что хотѣлъ сказать поэтъ „Птичкой Божіей"?

— Позвольте выйти!

— Ивановъ Павелъ хочетъ выйти. Ивановъ Павелъ выйдетъ на цѣлый классъ!

И уроки-то русскаго языка идутъ на какомъ-то индѣйскомъ языкѣ! Словно предводитель команчей разговариваетъ:

— Блѣднолицый братъ мой — собака. Языкъ блѣднолицаго брата моего лжетъ. Я сниму скальпъ съ блѣднолицаго брата моего!

Въ это время надъ задней скамейкой поднимается, словно знамя, достаточно выпачканная въ чернилахъ рука.

— Патрикѣевъ Клавдій знаетъ, что хотѣлъ сказать поэтъ. Пусть Патрикѣевъ Клавдій объяснитъ намъ, что хотѣлъ сказать поэтъ!

Патрикѣевъ Клавдій поднимается, но увѣренность его моментально покидаетъ:

„А вдругъ не угадаю".

— Почему же Патрикѣевъ Клавдій молчитъ, если онъ знаетъ?

Всѣ смотрятъ на Патрикѣева и начинаютъ хихикать.

Патрикѣевъ Клавдій думаетъ:

„Не попроситься ли лучше выйти?“

Но стыдится своего малодушія и начинаетъ неувѣреннымъ голосомъ:

— Въ стихотвореньѣ „Птичка Божія“ поэтъ, видимо, хотѣлъ сказать... хотѣлъ сказать... вообще... что птичка...

А классъ хихикаетъ все сильнѣе и сильнѣе:

„Ишь какой знающій выискался! Знаетъ, что поэтъ хотѣлъ сказать! Этого никто, кромѣ Петра Петровича, не знаетъ!“

Патрикѣевъ готовъ заплакать:

— Прикажите имъ, чтобы они не смѣялись... Тутъ вовсе нечему смѣяться... Поэтъ хотѣлъ сказать, что птичка... вообще не работаетъ, ничего не дѣлаетъ... и все-таки сыта бываетъ...

— Не то! Пусть Патрикѣевъ Клавдій сядетъ и никогда не вызывается отвѣчать, когда не знаетъ. Никто не знаетъ, что хотѣлъ сказать поэтъ въ „Птичкѣ Божіей“? Никто? Ну, какъ же такъ? Это такъ просто.

И учитель объясняетъ:

— Вкладывая пѣсню о птичкѣ Божіей въ уста кочевыхъ и неосѣдлыхъ цыганъ, поэтъ тѣмъ самымъ хотѣлъ изобличить передъ нами низкій уровень этихъ цыганъ. Ибо только съ точки зрѣнія...

— Петръ Петровичъ, будьте добры помедленнѣе. Я не успѣваю записывать!—говоритъ первый ученикъ.

— Надо понимать, а не записывать! Ибо, говорю я, только съ точки зрѣнія кочующихъ и беззаботныхъ цыганъ можетъ служить предметомъ восхваленія такая беззаботность птички. Похвала же птички за ея праздность и ничегонедѣланіе была бы немыслима въ

устахъ такого просвѣщеннаго человѣка, какимъ, безспорно, является поэтъ. Все поняли?

— Все поняли! — хоромъ отвѣчаетъ классъ.

— Мозговъ Николай, повторите!

— Поэтъ вкладываетъ птичкѣ въ уста...

— Садитесь. Повторяю еще разъ. Вкладывая въ уста не птичкѣ, а цыганамъ, поэтъ, несомнѣнно, думалъ этимъ... Ну, да все равно! Запишите.

И всѣ зубрятъ къ слѣдующему уроку это обязательное „толкованіе птички".

И такъ со всѣмъ, что только читается и обсуждается въ классѣ.

И чѣмъ больше школьники читаютъ и обсуждаютъ, тѣмъ больше они отучаются думать, разбирать, понимать.

Похороннымъ звономъ надъ самостоятельной критической мыслью звучитъ каждое учительство:

— Поэтъ хотѣлъ этимъ сказать...

Своя мысль замѣняется штампованной мыслью обязательнаго и узаконеннаго образца.

Никто ужъ и не пытается думать. Все равно не попадешь и ошибешься. Учитель скажетъ, какъ это надо понимать на пятерку!

Нѣтъ ничего болѣе притупляющаго, какъ гимназическія „сочиненія по русскому языку".

Въ провинціи у меня былъ добрый знакомый, видный общественный дѣятель и необыкновенно чадолюбивый родитель.

Когда его дѣти держали экзаменъ, экзаменъ держалъ весь городъ. Одни знакомые, — мой пріятель былъ большой хлѣбосолъ, у него всегда бывалъ весь городъ, — одни знакомые летѣли хлопотать у попечи-

теля, другіе у директора, третьи разлетались по учителямъ.

Если кому-нибудь изъ дѣтей задавали трудную задачу по алгебрѣ,—въ рѣшеніи ея принимали участіе профессора математики мѣстнаго университета. Въ дни „сочиненій на домъ“ приглашались на помощь адвокаты и литераторы.

И вотъ старшему сыну задали задачу на тему:

— О пользѣ труда.

Была созвана консультація.

Отецъ ходилъ, разводя руками:

— Чортъ знаетъ, какія темы задаютъ дѣтямъ. Поистинѣ не понимаю, какая такая польза труда! Трудъ, это—проклятіе. Богъ, изгоняя изъ рая, проклялъ людей трудомъ!

Мы наперерывъ старались изложить предъ юношей всѣ полезныя стороны труда.

Рисовали самыя соблазнительныя перспективы.

— Вотъ что можно на эту тему написать!

— Вотъ что еще можно прибавить!

— Вотъ еще что!

Но юноша качалъ головой:

— Нѣтъ, это не то! Это все не годится. Придется, папа, пригласить Семена Пуприкова!

Семенъ Пуприковъ былъ ученикъ другой гимназіи, но „человѣкъ знающій“.

— Онъ на сочиненіяхъ собаку съѣлъ.

Пуприкова пригласили обѣдать на другой день, и родственница, завѣдывавшая хозяйствомъ, спросила даже:

— А что этотъ твой Семенъ Пуприковъ любитъ? Не сдѣлать ли по этому случаю блинчики съ творо-

гомъ? Такіе, подрумяненные. Или лучше будетъ оладьи съ вареньемъ, только пожирнѣе?

Наше самолюбіе было, чортъ возьми, задѣто! И на слѣдующій день мы, и присяжные повѣренные и литераторы, явились на обѣдъ съ Семеномъ Куприковымъ.

Куприковъ оказался мальчикомъ небольшого роста и очень головастымъ.

Такъ, ничего особеннаго!

Явился онъ въ домъ съ полнымъ сознаніемъ важности своей миссіи. Съ такимъ видомъ входятъ въ домъ нотаріусы, приглашенные къ умирающему составить духовное завѣщаніе, судебные пристава, являющіеся для описи имущества, и немногіе имъ подобные.

Вплоть до обѣда Куприковъ ничего не говорилъ, ѣлъ хорошо: всего взялъ вдвое, а оладій съ вареньемъ спросилъ даже четыре раза.

Послѣ обѣда тутъ же, за столомъ, начали говорить о сочиненіи.

— Ну-съ, какъ же надо написать „О пользѣ труда“?

Семенъ Куприковъ обвелъ всѣхъ насъ серьезнымъ и даже, какъ мнѣ показалось, строгимъ взглядомъ, сжалъ губы, подумалъ съ минуту и сказалъ глухимъ голосомъ:

— Тутъ Демосѳенъ необходимъ!

Присяжные повѣренные даже подпрыгнули:

— Какъ Демосѳенъ?!

— А такъ Демосѳенъ!—снова помолчавъ, продолжалъ Куприковъ и, откинувшись къ спинкѣ стула, заговорилъ голосомъ, въ которомъ послышалось даже что-то пророческое:

— Такъ, мы можемъ убѣдиться въ пользѣ труда, только изучивъ исторію Демосѳена. Теперь періодъ. Будучи отъ природы косноязыченъ и обладая физическими недостатками, которые не позволяли ему и думать о выступленіи въ качествѣ оратора, изъ боязни насмѣшекъ со стороны согражданъ, Демосѳенъ непрестаннымъ трудомъ не только избавился отъ этихъ недостатковъ, но и сдѣлался знаменитѣйшимъ ораторомъ, слава котораго далеко перешла предѣлы его родины и границы его времени! Ну, тутъ насчетъ камешковъ въ ротъ, бѣганья по горамъ и всего прочаго!

Мы переглянулись почтительно.

— А затѣмъ нужно,—продолжалъ наставительно Пуприковъ,—сопоставить Демосѳена съ лаццарони.

— Какъ съ лаццарони?—воскликнули всѣ, глубоко пораженные.—При чемъ же тутъ лаццарони?

Пуприковъ Семенъ снисходительно улыбнулся.

— А какъ же?

И снова принявъ видъ вѣщей пиѳіи, онъ продекламировалъ, полузакрывъ глаза:

— Лаццарони въ Неаполѣ, довольствуясь ракушками, которыя выбрасываетъ море, избѣгаютъ труда,— и что же мы видимъ? Они валяются цѣлый день на солнцѣ, мало чѣмъ отличаясь отъ лежащихъ тутъ же собакъ, и справедливо вызываютъ къ себѣ негодованіе путешественниковъ. Это доказательство отъ противнаго или обратный примѣръ. А посему, убѣдившись на примѣрѣ Демосѳена въ крайней пользѣ труда и сопоставивъ это съ пагубными послѣдствіями праздности, въ коихъ убѣждаетъ насъ примѣръ итальянскихъ лаццарони въ Неаполѣ, будемъ же подражать

Демосѳену и избѣгать примѣра презрѣнныхъ лаццарони... Тутъ ужъ часть патетическая! Это всегда такъ пишется!..—увѣренно закончилъ Пуприковъ Семенъ.

— Чортъ знаетъ что! Словно бумага въ присутственное мѣсто! „Всегда такъ пишется!“ буркнулъ хозяинъ дома.

Послѣ обѣда я почтительно предложилъ Семену Пуприкову папиросу, а одинъ присяжный повѣренный до того растерялся, что предложилъ ему даже сигару:

— Вы крѣпкія сигары курите или среднія?

А Семенъ Пуприковъ, медленно прихлебывая ликеръ, раскраснѣвшись, долго объяснялъ намъ, какъ надо писать сочиненія на какія темы.

И въ каждой гимназіи, въ каждомъ классѣ есть такіе спеціалисты, которые „знаютъ, какъ эти бумаги надо писать“.

Словно ходатаи при консисторіяхъ!

Ко всякому пищущему человѣку часто обращаются чадолюбивые папеньки и маменьки съ просьбой:

— Напишите ребенку сочиненіе. Что вамъ стоитъ!

Но куда ужъ тутъ соваться!

Когда Тургеневъ за сочиненіе, написанное для гимназиста, съ трудомъ получилъ тройку съ минусомъ. А Щедрину за сочиненіе, написанное для дочери, и вовсе поставили два:

— Не знаете русскаго языка!

Старикъ, говорятъ, даже объясняться поѣхалъ.

— Ну, ужъ этого-то вы, положимъ, говорить не смѣете. Незнаніе русскаго языка! Да сочиненіе-то писалъ я!

И это, навѣрное, никого не смутило:

— Да, но *не такъ* написано!

Не штампованныя мысли и не штампованныя слова.

Послѣ такихъ примѣровъ, если къ вамъ обращаются съ просьбой: „напишите сочиненіе“, конечно, не беритесь. Найдите какого-нибудь „ходока по этой части“ изъ гимназистовъ, у котораго всѣ мысли и слова уже разъ навсегда заштампованы:

— Вотъ, голубчикъ, напишите для одного моего маленькаго пріятеля сочиненіе: „Описаніе деревни“. А я васъ за это на Марсово поле отвезу, на велосипедѣ кататься.

— За велосипедъ mercі. А насчетъ сочиненія, это— мнѣ пустое дѣло. „Описаніе деревни“ велика важность! Сейчасъ нужно ниву описать, направо роща, рѣка.

— Ну, а если рѣки въ деревнѣ нѣту?

— Гмъ... Какъ же такъ рѣки нѣту? Рѣка непремѣнно должна быть. Это требуется.

Такъ еще со школьной скамьи штампуется наша мысль, отучаютъ насъ мыслить самостоятельно, по-своему, пріучаютъ думать по шаблону, думать, „какъ принято думать“.

Наше общество — самое неоригинальное общество въ мірѣ.

Перефразируя знаменитую фразу Агамемнона, можно воскликнуть:

— У насъ есть люди умные, есть люди глупые, но оригинальныхъ людей у насъ нѣтъ!

Быть „оригинальнымъ“ — даже недостатокъ.

Что вы слышите въ обществѣ, кромѣ шаблоннѣйшихъ мыслей, шаблоннѣйшихъ словъ?

Всѣ думаютъ по шаблонамъ. Одинъ по-ретроградному, другой по-консервативному, третій по-либеральному, четвертый по-радикальному. Но всѣ по шаблону.

По шаблону же ретроградному, консервативному, либеральному, радикальному, тѣми же самыми стереотипными, штампованными фразами всѣ и говорятъ и пишутъ.

Я не говорю, конечно, о нашихъ геніяхъ, объ исключительныхъ талантахъ.

Геній, исключительный талантъ, это—розы, выросшія среди бурьяна. Богъ вѣсть какимъ вѣтромъ занесло ихъ сѣмена именно сюда!

Но обыкновенные, средніе писатели.

Часто ли вы встрѣтите въ нашей текущей литературѣ оригинальную мысль, даже оригинальное сравненіе?

Возьмите самаго захудалаго француза. И тотъ стремится что-нибудь новое, свое, несказанное еще сказать.

А у насъ только и думаютъ, какъ бы написать, сказать „какъ всѣ“, повторить „что-нибудь хорошее“, 20 разъ сказанное.

Такая мыслебоязнь!

Только этой шаблонностью, которая разлита кругомъ и давитъ, какъ свинецъ, и объясняется, напримѣръ, успѣхъ у насъ декадентства.

Это естественный протестъ противъ прѣснятины въ мысли, литературѣ, искусствѣ.

Цынга у общества отъ этой прѣсной пищи!

И бросаются люди на декадентство, какъ бросаются цынготные на лукъ, на чеснокъ, на лимонъ. Десны отъ прѣснятины чешутся

Жалуются, что въ наше время ужъ очень увлекаются. Кто національнымъ, кто радикализмомъ, кто другимъ какимъ „измомъ“. Что увлекаются,—бѣда бы не велика. Увлеченіе есть,—значитъ, жизнь есть, не засохла, не завяла. Бѣда въ томъ, что увлекаются-то ужъ очень легко, сдаются на все безъ боя: встрѣтилъ теорію, и сдался ей на капитуляцію безъ борьбы. Думалъ по одному шаблону, а потомъ задумалъ по другому.

Да какъ же и иначе быть можетъ, когда со школьной скамьи самостоятельная мысль забивалась, забивалась, забивалась, думать „по-своему“ всячески воспрещалось и рекомендовалось думать не иначе какъ по шаблону.

И какъ это странно! Главнымъ орудіемъ къ этому служило преподаваніе самаго живого, казалось бы, предмета! Родного языка!

А между тѣмъ нѣтъ ничего легче, какъ сдѣлать изъ этого именно „предмета“ самый живой, интересный, увлекательный предметъ, самое могучее орудіе развитія.

Любовь и уваженіе къ этому именно „предмету“ развиты среди юношества. Можно не заниматься чѣмъ угодно, но „русскимъ языкомъ“ заниматься считается необходимымъ и почетнымъ.

Всякій „развитой гимназистъ“ считаетъ необходимымъ заниматься русскимъ языкомъ.

Что же даютъ этимъ юношамъ, которые, — говоря громко, — съ такой жадностью стремятся къ этому источнику знанія?

Половину курса они посвящаютъ главнѣйшимъ образомъ на то, чтобъ изучить, гдѣ надо ставить и

гдѣ не надо ставить букву, которая совсѣмъ не произносится.

Вторая половина курса посвящена изученію „древнихъ памятниковъ“ и того періода литературы, который никого ужъ не интересуетъ.

Все, что есть живого, привлекательнаго и интереснаго въ „предметѣ“, исключено.

Мертвыя сочиненія вмѣсто того, чтобъ развивать, пріучать мыслить, пріучать къ „недуманію“.

И въ результатѣ...

Три четверти образованной Россіи не въ состояніи мало-мальски литературно писать по-русски. Привычка къ шаблону въ области мысли И спросите у кого-нибудь,—что такое русскій языкъ.

— Скучный предметъ!

А вѣдь языкъ народа, это — половина „отчизновѣдѣнія“, это—„душа народа“.

Позвольте этимъ шаблономъ закончить сочиненіе о преподаваніи русскаго языка.

Первый ученикъ.

Первый день послѣ каникулъ. 12 часовъ. „Большая перемѣна“. Раздается звонокъ. Черезъ полминуты на гимназическій дворъ съ крикомъ, шумомъ, гамомъ вылетаетъ толпа приготовишекъ, первоклассниковъ и т. д., вплоть до четвероклассниковъ. Старшіе идутъ солидно и разговариваютъ о велосипедахъ и фотографіи.

Второклассникъ (*выбѣгая и вертясь кубаремъ*). А нѣмецъ-то потолстѣлъ! А нѣмецъ-то потолстѣлъ!

Другой второклассникъ (*по этому случаю подпрыгиваетъ и напѣваетъ*).

Нѣмецъ-перецъ колбаса
Купилъ лошадь безъ хвоста,
Поѣхалъ жениться.

Ивановъ Павелъ, хочешь въ салки играть?

Ивановъ Павелъ. Вотъ еще, очень нужно въ салки! Меня третьеклассники звали въ китайцы играть!

Первоклассникъ (*живо*). А гдѣ будетъ Китай?

Третьеклассникъ (*захлебываясь*). Около помойной ямы! Господа! Господа! Давайте такъ играть. Вы будете китайцами, а мы русскими! Бей китайцевъ! Ура!

Третьеклассники. Ура!

Голосъ. Уговоръ! Уговоръ! Я буду Леневичъ!

Другой голосъ. Какой ты Леневичъ, ты китаецъ!

Голосъ. Ай!

1-й ученикъ (*изжелта-блѣдный мальчикъ, съ черными кругами вокругъ глазъ. Волосы льняного цвѣта. Ходитъ отдѣльно въ сторонкѣ и для собственнаго удовольствія склоняетъ слово „conjunx“! Дойдя до звательнаго падежа*). O, conjunx! (*Замѣчаетъ мальчика, который уплетаетъ булку съ колбасой, и подходитъ.*) Дай укусить!

Мальчикъ съ колбасой. За что?

1-й ученикъ. Послѣ каникулъ я всегда у тебя укусывалъ!

Мальчикъ съ колбасой. Такъ то прежде! А теперь хочешь фигу съ масломъ?

1-й ученикъ (*кидаетъ злобный взглядъ и отходитъ, переводя для своего утѣшенія на латинскій: „Никто не сомнѣвается, что дурные ученики будутъ наказаны своими наставниками“*).

Первоклассникъ (*къ приготовишкѣ, который стоитъ, растопыривъ ноги, и ѣстъ сладкій пирожокъ*). Дай пирожокъ, мы тебя въ игру примемъ!

Приготовишка (*отдавая пирожокъ и довѣрчиво улыбаясь*). Примите!

Первоклассникъ. Ты будешь миссіонеромъ. Хорошо?

Приготовишка. А что дѣлать-то надо?

Первоклассникъ. А ты Богу молись, а мы тебя бить будемъ. Потому что мы китайцы! Господа, господа! Миссіонеръ! Ура!

Приготовишка (*ревѣтъ*).

1-й ученикъ (*подходя къ мальчику, который ѣстъ большую булку съ икрой*). Шестопаловъ, у тебя съ чѣмъ булка?

Шестопаловъ (*съ полнымъ ртомъ, едва прожевывая*). Съ акрой... Мнѣ ма-ма ак-ры па-ла-ши-ла... пата-му-што мнѣ ос-пу при-ви-ва-ли...

1-й ученикъ (*у него текутъ слюнки*). Дай укусить!

Шестопаловъ (*моментально проглатывая все, что у него было во рту, складываетъ комбинацію изъ трехъ пальцевъ и подноситъ ее къ самому носу 1-го ученика*). Высоси!

1-й ученикъ (*нараспѣвъ и заманчиво*). А я бы тебѣ лѣтнія работы списать далъ.

Шестопаловъ (*нараспѣвъ и радостно*). А лѣтнія работы теперь не обязательны! Кто хочетъ,—дѣлаетъ, А кто не хочетъ,—не дѣлаетъ!

1-й ученикъ. А ты захоти!

Шестопаловъ. А я не хочу!

1-й ученикъ (*обиженно отходитъ и переводитъ на греческій языкъ фразу: „Жадность есть мать всѣхъ пороковъ“*).

Мальчикъ (*съ мечтательными глазами, сидя въ сторонкѣ, довѣрчиво разсказываетъ другому мальчику*). А домъ нашъ былъ на горѣ, а подъ горою рѣка. Такъ вотъ домъ, а такъ рѣка. Вотъ мы бывало по утрамъ съ тетей пойдемъ купаться...

Другой мальчикъ (*вдругъ срываясь съ мѣста, во все горло*). Господа, Шишелевъ вмѣстѣ съ теткой купаться ходилъ! Ура!

Всѣ. Ура!

Мальчикъ (*плача*). Да мы не вмѣстѣ!

Другой мальчикъ. Шишелева тетка купала! (*Мальчики схватываются за руки и пляшутъ вокругъ Шишелева дикій танецъ. Шишелевъ истерически плачетъ и топочетъ ногами.*)

1-й ученикъ (*подходя къ мальчику, который ѣстъ курицу и булку съ сыромъ сразу*). Дай укусить. Я тебѣ extemporale дамъ списать!

Мальчикъ съ курицей и съ сыромъ. Дудки, братъ! Экстемпоралій больше нѣтъ!

1-й ученикъ (*со злобой*). Свинья!

Второклассникъ (*запыхавшись, глаза горятъ, подбѣгаетъ къ мальчику, который сѣлъ сначала ветчину, а теперь доѣдаетъ булку отдѣльно*). Васильевъ! Что жъ ты? Тамъ китайцы миссіонеровъ бьютъ!

Васильевъ (*забивая булку за обѣ щеки*). А мнѣ наплевать! У меня булка!

1-й приготовишка (*горячо*). У моего папаши въ имѣніи груши, яблоки на деревѣ растутъ. Какъ выйдешь въ садъ, все груши, груши, груши...

2-й приготовишка (*еще горячѣе*). А у моего папаши арбузы на деревѣ растутъ! Все арбузы, арбузы, арбузы!

1-й ученикъ (*взявъ подъ руку новичка, который ѣстъ кусокъ пирога съ цыплятами, очень ласково*). Хотя лѣтнія работы теперь и не обязательны, но я бы вамъ совѣтовалъ. Васъ за это греческій любить будетъ. Хотите у меня списать? Дайте пирога укусить!

Новичокъ. Да отстаньте вы отъ меня пожалуйста! Да не хочу я совсѣмъ! Убирайтесь вы къ чорту съ греческимъ! Что вы ко мнѣ пристали? (*Быстро становясь въ позу.*) Хочешь, я тебѣ подъ ножку и въ морду?

1-й ученикъ (*злобно сжимаетъ губы, молча отходитъ, съ отчаяніемъ оглядывается кругомъ, вздыхаетъ и достаетъ изъ-за пазухи собственную булку съ котлетой*).

Вихрястый мальчикъ (*выростая какъ изъ-подъ земли, скороговоркой*). Зубрила, дай откусить!

1-й ученикъ (*пораженный*). За что?

Вихрястый мальчикъ (*помолчавъ и подумавъ*) А за то, что я тебя дуть не буду!

1-й ученикъ. Вотъ еще новости! Скажите пожалуйста!

Вихрястый мальчикъ (*настойчивѣе*). А то я тебя дуть буду!

1-й ученикъ (*съ отчаяніемъ*). На, откусывай! Смотри, столечко (*беретъ булку пальцами такъ, чтобъ дальше нельзя было откусить*).

Вихрястый мальчикъ (*раскрываетъ ротъ какъ пасть и хватаетъ его зубами за палецъ*).

1-й ученикъ (*визжитъ*). А-а-ай!

Вихрястый мальчикъ (*даетъ ему подъ ножку*).

Мальчикъ съ кулаками (*подскакивая*). Ты чего дерешься?

Вихрястый мальчикъ. А онъ зачѣмъ визжитъ?

1-й ученикъ. А онъ зачѣмъ кусается?

Вихрястый мальчикъ. А онъ зачѣмъ булки съ котлетой не даетъ?

Товарищи. Плюнь, плюнь ему на котлеты.

Мальчикъ живого темперамента. Стойте, я! Стойте, я! Вотъ я здорово у дворника на дачѣ черезъ зубы плевать выучился!

1-й ученикъ (*плача*). Какъ вы смѣете мнѣ на котлеты плевать. Мой папа дѣйствительный статскій совѣтникъ!

Авторитетный мальчикъ. Во-первыхъ, недѣйствительный, во-вторыхъ, просто статскій, въ-третьихъ, твой папа дуракъ, а въ-четвертыхъ, дуть зубрилу!

Всѣ. Дуть, дуть зубрилу!

Голосъ. Изъ зубрилы жать масло!

Другой голосъ. Масло ему на головѣ ковырять!

Всѣ. Дуй его! Бей!

* * *

Дома. 5 часовъ. Обѣдъ конченъ. Статскій совѣтникъ сидитъ у себя въ кабинетѣ и задумчиво куритъ скверную сигару.

1-й ученикъ (*входя въ кабинетъ*). Папа, возьми меня изъ гимназіи.

Статскій совѣтникъ. Это еще что?

1-й ученикъ. Экстемпоралій нѣтъ, лѣтнихъ работъ нѣтъ, ничего нѣтъ. (*Со вздохомъ.*) Никакихъ доходовъ. Только бьютъ.

Статскій совѣтникъ (*задумавшись*). Эхъ, братъ, и у насъ то же на нашей государственной. Доходовъ никакихъ. Только бьютъ. (*Съ глубокимъ вздохомъ.*) Руку, товарищъ! (*Опомнившись.*) Вонъ пошелъ изъ кабинета, каналья!

На томъ свѣтѣ.

Сцена представляетъ Елисейскія поля. Большое гулянье. Масса знаменитостей. Греки, римляне, римлянки, гречанки. Курціусъ, Кюнеръ, Ходобай, Кремеръ, Черный, одни уже покойники, другіе въ видѣ исключенія, за ненадобностью на землѣ, взятые живыми на небо, сидятъ на корточкахъ по краямъ дороги и торгуютъ исключеніями.

Прекрасная Елена (*за ней ухаживаетъ Антоній*). Это безобразіе! Это возмутительно! Всякому мальчишкѣ 8 — 9 лѣтъ разсказываютъ, что я отъ мужа убѣжала!

Антоній. Que voulez vous faire! Разсказываютъ неприличные анекдоты про почтенныхъ людей, и это называется классическимъ образованіемъ! Относительно меня тоже. Вы знаете, у меня при жизни былъ небольшой романъ съ Клеопатрой.

Елена. Elle estassez charmante, cette Cléo!

Антоній. Послѣ смерти немножко похудѣла. Вы понимаете, — змѣя: змѣю къ себѣ приставила, это очень вредно. Но при жизни была очаровательна! Совсѣмъ Отеро. У нея были фантазіи! Однажды мы ловили рыбу, и, можете себѣ представить, что она выдумала. Приказала нацѣпить мнѣ на крючокъ соленую

рыбу. Я вытаскиваю — селедка! И представьте, такое происшествіе разсказываютъ рѣшительно всѣмъ! Дѣтямъ! Но позвольте, почему же непремѣнно селедку? Мнѣ случалось и ершей, и окуней, и плотву ловить,—я щукъ даже ловилъ! И объ этомъ ничего. А о селедкѣ всѣмъ и каждому твердятъ. Помилуйте, самый маленькій гимназистъ, на вопросъ: чѣмъ былъ замѣчателенъ римскій тріумвиръ Антоній?—отвѣчаетъ: „Тѣмъ, что онъ поймалъ соленую селедку!“ Schoking!

Курціусъ (*во все горло*). И вотъ исключенія изъ третьяго склоненія! Господинъ, купите исключеній! Пощелкаете!

Антоній. Ахъ, отстань ты со своими исключеніями! Орешь, какъ зарѣзанный!

Сократъ (*вступая въ разговоръ*). А со мной? Вѣдь я былъ Сократъ! Левъ Толстой въ свое время! И вдругъ, представьте, только и разсказываютъ направо и налѣво, какъ Ксантиппа меня разъ помоями облила. Вѣдь она со зла. Она не знала. Если бы ей сказали, что объ этомъ черезъ 2,300 лѣтъ будутъ дѣтямъ разсказывать, конечно бы, она вылила помои въ другое мѣсто. Но какому же мудрецу пришла бы въ голову этакая глупость! И вотъ не угодно ли! Спросите у любого молодого человѣка: „Что такое былъ Сократъ?“— вамъ отвѣтятъ: „А ему жена помои на голову вылила!“ И только.

Юстиніанъ. Диффамація, а не классическое образованіе!

Кюнеръ. Вотъ неправильный глаголъ! Такой неправильный глаголъ, — хоть сейчасъ въ музей! Сударыня, купите, какъ рѣдкость!

Елена. Отстаньте отъ меня! (*Сморщивъ носъ.*) Гипербореецъ!

Юстиніанъ (*продолжая*). Диффамація - съ! Вы имѣете полное римское право къ суду за это притянуть. Да-съ!

Неронъ (*горячо*). Судите меня, какъ артиста-съ! Да-съ! А моей частной жизни трогать не смѣете! Я кн. В. В. Барятинскому письмо напишу!

Всѣ. Написать! Возмутительно!

Цицеронъ (*подъ руку съ Катилиной*). Надоѣлъ мнѣ тутъ одинъ гипербореецъ. Говоритъ, что самъ гдѣ-то Цицерономъ былъ. Все почтенье свидѣтельствуетъ. Подарилъ ему свой старенькій плащъ, чтобъ отсталъ. Ужасно безпокойный покойникъ. Какъ увидитъ, сейчасъ подбѣгаетъ: „Ваше краснорѣчіе, отечество въ опасности!“ И все про тебя, о Катилина! „Отстаньте вы,— говорю,— отъ меня. Объ этомъ ужъ забыть пора! И Катилина вовсе не такой ужъ былъ, а очень уважаемый въ свое время человѣкъ. И отечество вовсе въ такой опасности не было. Просто мы, охранители, выдумали, чтобъ „спасти“ и отличиться. И то, что вамъ угодно титуловать даже въ учебникахъ исторіи „сволочью“ Катилиною, было ужъ вовсе не „сволочь“.

Катилина (*басомъ*). Теперь это пролетаріатомъ зовется.

Цицеронъ. „И умерли они всѣ, получивъ раны въ грудь и лицо, а не въ спину и затылокъ. Какая же это „сволочь“? Да и я-то, какой я „отецъ отечества“? Такъ, въ родѣ Вальдека-Руссо. Буржуазный ораторъ и представитель буржуазныхъ интересовъ. Ministère de la défense nationale. Et voilà tout!

Ходобай. Спряженья хороши!

Цицеронъ. Отстань, братецъ! (*Проходятъ.*)

Ходобай. Совсѣмъ плохія дѣла пошли! И на томъ свѣтѣ теперь наши исключенья не въ ходу и здѣсь никто не спрашиваетъ.

Кремеръ. А прежде-то! Поистинѣ золотой вѣкъ былъ! Что ни годъ, то новое изданіе грамматики выпускаешь, „исправленное и дополненное новыми исключеніями“. Мальчишки каждый годъ новое изданіе и покупаютъ. И Салаевъ покойникъ сотни тысячъ на этомъ наживалъ и намъ десяточки перепадали!

Покойный „Отецъ классицизма“ (*идетъ въ глубокой задумчивости, навстрѣчу ему покойный классикъ-публицистъ въ старомъ плащѣ съ Цицеронова плеча, который ему великъ*).

Публицистъ. Читали? Въ „Русскомъ Вѣстникѣ“ читали? Гибель классическаго образованія! Гибель боговъ: Курціуса, Ходобая, Кремера, да и насъ съ вами! (*Всплескивая руками.*) O, tempora! O, mores! Senatus vidit, consules sciunt, et extemporalia dilabuntur.

Отецъ классицизма. Постой! Постой! Довольно по-латыни! Надоѣло! И ты не Цицеронъ, и Катилинъ больше никакихъ нѣтъ. Что случилось?

Публицистъ. Уничтожаютъ экстемпораліа. Гибель! Гибель! Потрясенье основъ! Руки прочь! И это то самое министерство народнаго просвѣщенія...

Отецъ классицизма. Постой, постой! Увѣренъ ли ты, что при насъ было, дѣйствительно, министерство народнаго просвѣщенія? Помнишь то время?

Публицистъ. Опасное было время!

Отецъ классицизма. Что „опасное“! Мертвымъ ужъ бояться нечего. Будемъ говорить ужъ прямо! Горячее было время. Всеобщій доступъ въ гимназіи.

Всеобщая воинская повинность. Льготы по образованію. Все хлынуло учиться. Мы испугались. Куда мы идемъ? Куда мы летимъ? Россія летѣла, какъ экспрессъ. Мы кинулись къ тормозамъ, мы дергали за веревку, мы кричали, мы тормозили. Я въ Петербургѣ, ты въ Москвѣ.

Публицистъ. Да вѣдь меня же звали трибуномъ! Я и кричалъ: veto.

Отецъ классицизма. Veto! Да развѣ въ этомъ вѣдомствѣ „veto“ кричатъ? Было ли это министерство народнаго просвѣщенія? Теперь ужъ, когда мы померли, на этомъ свѣтѣ можно правду говорить. (*Вздыхая.*) Вотъ какъ лѣтъ черезъ пятьдесятъ начнутъ тогдашніе циркуляры въ Русской „Старинѣ“ печатать,— боязно!

Публицистъ. Боязновато.

Отецъ классицизма. Помнишь? Въ гимназію-то, бывало, идутъ толпы, а кончаютъ курсъ пятеро, шестеро, много десятеро!

Публицистъ. Десятеро! Выпускъ въ восемь человѣкъ, и то къ нерадѣнію гимназическаго начальства относили: „Послабленіе! Недостатокъ требовательности! Отсутствіе усердія! Непониманіе задачъ! Попущенія! Чуть не преступленіе!“

Отецъ классицизма. Въ примѣръ ставились тѣ гимназіи, гдѣ меньше были выпуски. Меньше! Меньше!.. При насъ это было... это было „министерство народнаго непросвѣщенія“. А теперь... (*Со вздохомъ.*) Ей Богу ничего не случилось. Просто рѣшили, что грузъ долженъ соотвѣтствовать флагу,— и все. Министерство народнаго просвѣщенія, ну, и рѣшили о просвѣщеніи, а не о непросвѣщеніи заботиться. Только

и всего. По-моему и шума-то поднимать не изъ-за чего. Это должно было случиться рано или поздно. И никакихъ тутъ Катилинъ нѣтъ!

Публицистъ (*проходящему мимо Цицерону*). Vir illustrissime, doctissime, eloquentissime...

Цицеронъ (*едва кивая головой*). Здравствуй, скиѳъ!

Публицистъ (*грустно*). А говорили, памятникъ поставятъ!

Историческіе люди дурного поведенія.

Въ Тифлисѣ случилось крупное историческое событіе.

Изъ тифлисской гимназіи исключенъ за дурное поведеніе... не много, не мало — князь Святославъ.

Вотъ тебѣ и „иду на васъ“!

Доходился.

Тифлисскіе педагоги собрались для совѣщанія, какъ „повоспитательнѣй“ преподавать исторію въ младшихъ классахъ гимназіи.

И педагогическій совѣтъ постановилъ:

— Простота образа жизни Святослава могла бы найти мѣсто въ воспитательномъ курсѣ исторіи; но его постоянная погоня за придунайскими владѣніями и оставленіе русской земли на произволъ судьбы подаютъ поводъ къ исключенію изъ программы и этого князя.

Итого:

Успѣхи — 5.

Прилежаніе — 4 — .

Вниманіе — 3.

PS. Неоднократно былъ замѣчаемъ въ оставленіи безъ вниманія русской земли.

Поведеніе — 2.

А посему педагогическій совѣтъ и постановилъ исключить князя за дурное поведеніе изъ гимназіи.

Святославъ! Опять вы гоняетесь по коридору за придунайскими владѣніями? Станьте въ уголъ!

Святославъ (*поднимая руку*). Позвольте выйти!

— Извольте стоять! Опять начнете гоняться!

Святославъ исключенъ, какъ „дурной примѣръ".

Вдругъ на самомъ дѣлѣ всѣ гимназисты тифлисскихъ гимназій Святославами сдѣлаются!

Вмѣстѣ со Святославомъ исключены изъ гимназіи и три брата-варяга, — Рюрикъ, Синеусъ и Труворъ.

Эти, вѣроятно, за плохіе успѣхи.

— Васъ зачѣмъ звали?

— „Земля наша велика и обильна, а порядка въ ней нѣтъ!"

— Устроили порядокъ?!

И исключили за малоуспѣшіе.

Поведеніе — 5.

Успѣхи — 1.

Тифлисскіе педагоги строги, но справедливы.

Нѣкоторое послабленіе оказано только... кто бы могъ этого ожидать?.. Іоанну Грозному.

Слѣдовало бы исключить, но пожалѣли:

— Онъ такой способный!

Впрочемъ, Іоаннъ Грозный въ рукахъ тифлисскихъ педагоговъ исправился.

Іоаннъ Грозный будетъ преподаваться тифлисскимъ гимназистамъ сокращенный и исправленный.

Иванъ Паинька или, въ крайнемъ случаѣ, только Иванъ Строгій.

Тифлисскіе педагоги рѣшили про „грѣхи, про темныя дѣянья“ Ивана „бывшаго Грознаго“ скромно умалчивать.

На томъ свѣтѣ это должно произвести большую сенсацію.

Мы представляемъ себѣ картину.

Іоаннъ Грозный (*дразнясь*). А тебя изъ гимназіи выгнали! А тебя изъ гимназіи выгнали! За поведеніе!

Святославъ (*плача*). И совсѣмъ неправильно! Это ко мнѣ помощникъ класснаго наставника придрался! Никакого поведенія я не дѣлалъ!

Іоаннъ Грозный. А за придунайскими владѣніями зачѣмъ гонялся?

Святославъ. Такъ вонъ и Екатерина за придунайскими владѣніями гонялась! А ее, чай, зовутъ Великой! А ты чего дразнишься? Самъ чего надѣлалъ!

Іоаннъ Грозный (*съ хвастовствомъ*). А меня простили! А ты драчунъ!

Святославъ (*разсердясь*). Иду на вы!

Іоаннъ Грозный. Ну, ты! Тише! Сейчасъ тифлисскому директору профискалю!

Насъ интересуетъ нѣсколько вопросовъ.

Сколько, напримѣръ, получилъ у тифлисскихъ педагоговъ за поведеніе Петръ Великій?

Сдѣлано ли замѣчаніе Владимиру Мономаху за то, что его „бодалъ туръ многажды“?

— Какъ не стыдно? Доводить себя до того, чтобъ васъ туръ бодалъ?

Про такое лицо, какъ Святополкъ Окаянный, въ тифлисскомъ воспитательномъ и нравоучительномъ

курсѣ русской исторіи, конечно, даже и не упоминается.

Тифлисскіе педагоги не нашли, понятно, возможнымъ даже разговаривать о такой личности въ педагогическомъ совѣтѣ.

Но вотъ за что они исключили изъ гимназіи Ярослава Мудраго?

Кажется, человѣкъ ни въ чемъ дурномъ замѣченъ не былъ.

Законы издавалъ.

Развѣ это дурно, непохвально или непозволительно?

Родителямъ исключеннаго остается возбудить предъ попечителемъ жалобу на неправильное постановленіе педагогическаго совѣта.

До чего, однако, могутъ довести заботы о томъ, чтобъ „приручить исторію“ и сдѣлать ее нравоучительной.

Нѣчто о пуговицахъ и о школѣ.

(Статья извѣстнаго философа г. Розанова *).

Ахъ, какую вы пуговицу надѣли, г. учитель! Какую пуговицу! Золотая, съ орломъ. Смотрѣть боязно. И фракъ, вѣрнѣе, полуфрачецъ, у васъ синющій-синющій, страшнущій-страшнущій. И позади виситъ фалда зловѣщая. И не одна, а двѣ!

Увидитъ васъ, въ полуфрацѣ суща, ученичекъ Павсикакіевъ Елпидифоръ, мальчичекъ, младенецъ Божій, ангельская душенька. Душа у младенчика скапустится, и вострепещетъ младенчикъ, и уйдетъ его душенька въ пяточку. И будетъ она въ пяточкѣ во младенческой сидѣть съ трепетомъ. И перезабудетъ младенецъ всѣ исключенія и будетъ онъ глаголы спрягать страха ради, но безъ всякаго удовольствія. Папоротки всѣ отшибетъ младенчику, душкѣ ангельской.

То ли бы дѣло, ходилъ учитель въ классъ въ костюмчикѣ. Пиджачокъ на немъ пестренькій, штаники въ полосочку, жилеточка съ крапинкой. Утѣшеніе! Веселье-то, веселье-то какое: штаники въ полосочку! Самъ сѣренькій, ножки полосатенькія. Радость безмѣрная!

---

*) Перепечатано изъ „Новаго Времени“.

Такъ у Елпидифорушки и папенька ходитъ, и дяденька Θеоктистъ, и у тетеньки Аккелины такая юбка есть! Родные ужъ эти штаны Елпидифорушкѣ. И учитель ужъ родной, потому что въ родныхъ штанахъ ходитъ. Ну, совсѣмъ словно учитель штаники изъ Аккелининой юбочки перешилъ! Этакое что-то милое! И прилѣпится ученикъ всей душой къ учителю сѣренькому. И сольются они воедино, милые!

И чтобъ звалъ ученичокъ учителя не „г. учитель". На „господинъ городовой" это похоже. И не „Петръ Ивановичъ". Сухо, это! Холодно! „Петръ Ивановичъ"! Словно кредитора какого. А чтобъ звалъ ученикъ учителя просто:

— Дяденька!

Мило и радостно! „Дяденька" И всѣ фразы музыку этакую получатъ. Музыкой исполнятся.

— Дяденька, я нынчѣ урока не выучилъ!

Музыка!

— Дяденька, позвольте выйти!

Опять музыка!

И умягчится сердце учителево. Ибо какъ дяденька и вдругъ племяннику колъ поставитъ? Не бываетъ этого! Или какъ вдругъ дяденька племяннику скажетъ:

— Станьте въ уголъ!

И скажетъ учитель-дяденька:

— Ну, ничего, ничего, племянничекъ! Въ другой разъ выучишь!

И разрѣшитъ учитель-дяденька:

— Иди, иди, миленькій! Иди, иди ножками!

Ахъ, какое благорастворенiе воздуховъ можетъ быть, если только учителю золотую пуговицу выпороть!

В. Розановъ.

Начитался я статей гг. Розанова, Proctor'a и К°, заснулъ, и пригрезилась мнѣ школа.

Не наша школа,—реформированная.

Реформированная по проекту гг. Розанова, Proctor'a и К°.

Завидѣвъ ученика, учителя кидались за нимъ, сломя голову, ловили и, преисполненные любви къ учащимся, цѣловали.

Такъ что нѣкоторые ученики,—особенно младшихъ классовъ,—даже подъ парты прятались.

Но переполненные любовью учителя настигали ихъ, вытаскивали за ногу изъ-подъ парты, крича:

— Врешь, шельмецъ! Будешь на основаніи циркуляра исцѣлованъ!

И цѣловали въ обѣ щеки.

Даже и директоръ!

При встрѣчѣ съ воспитанникомъ прижималъ его къ сердцу и, цѣлуя, говорилъ:

— Не я васъ цѣлую, — циркуляръ васъ цѣлуетъ! Потому что намъ васъ любить приказано!

Ученики третьяго класса, замусленные отъ поцѣлуевъ, сидѣли, съ нетерпѣніемъ ждали учителя математики и бесѣдовали.

Настроеніе учащихся было полное интереса.

— Хотѣлъ бы я знать, — захлебываясь, говорилъ ученикъ Розановъ Василій,—хотѣлъ бы я знать, въ какомъ сегодня костюмѣ придетъ дяденька математики! Я такъ думаю, что непремѣнно въ сѣренькомъ. Въ томъ, что крапинкой!

— Держи карманъ шире! — возражалъ Энгельгардтовъ Павелъ.—Вчера былъ въ сѣренькомъ! Нельзя же каждый день въ сѣренькомъ ходить,—учащихся уто-

мишь! Придетъ онъ, братцы вы мои, въ клѣтчатой визиточкѣ, и панталоны съ искрой! Помяните мое слово!

— Идетъ! Идетъ!—раздались радостные клики.

И всѣ ученики, отъ радости сдѣлавъ сальтоморталe, кинулись гурьбой навстрѣчу учителю.

Но учитель былъ не въ сѣренькомъ пиджакѣ и не въ клѣтчатой визиточкѣ. Учитель былъ въ русскомъ костюмѣ.

Въ красной рубахѣ косовороткѣ, въ плисовыхъ шароварахъ, въ сапогахъ бутылками. На головѣ у него была шапка съ павлиньими перьями, а подъ мышкой гармоника.

— Совсѣмъ нашъ кучеръ Илья! — воскликнулъ Прокторовъ Гаврюша.

Учитель самодовольно улыбнулся.

Перецѣловавъ всѣхъ учениковъ въ классѣ и поручивъ первому ученику поцѣловать за него отсутствующихъ, учитель крякнулъ и сказалъ въ русскомъ стилѣ:

— Ужъ вы гой еси, добры молодцы! А пристало ли вамъ, добрымъ молодцамъ цифирью поганой заниматися, дѣлать разныя тамъ сложенія да дѣленія! Вы кидайте, кидайте книги печатныя! Къ чорту ихъ, штаны Пиѳагоровы, выдумки разныя нѣмецкія! Мы начнемъ лучше, добры молодцы, пѣсни пѣть - играть русскія, пѣсни пѣть-играть молодецкія.

Учитель спрыгнулъ съ каѳедры, надвинулъ набекрень шляпу съ павлиньими перьями, гикнулъ, свистнулъ и завелъ тонкимъ голосомъ:

„Солдатушки...
— Бравы ребятушки!—

гаркнулъ весь классъ.

„Игдѣ же ва-а-аши же-е-ены?!“

спрашивалъ учитель.

— Наши жены—ружья заряжены!—

отвѣчалъ весь классъ.—

Вотъ гдѣ на-а-аши же-е-ены!...

— Эхъ, ты! Гуляй! Разговаривай!—въ восторгѣ отъ успѣховъ класса воскликнулъ учитель, поставилъ правую ногу на каблукъ, пошевелилъ большимъ пальцемъ, посмотрѣлъ на игру носка, воспламенился и вдругъ хватилъ въ присядку.

„Ай, жги, жги, говори“, пѣлъ и притопывалъ весь классъ.

Въ эту минуту вошелъ директоръ.

На директорѣ былъ для разнообразія розовый пиджакъ, жилетъ съ черными и бѣлыми клѣтками, одна панталона зеленаго цвѣта, другая оранжевая. На головѣ жокейская шапочка.

Директоръ съ любовью посмотрѣлъ на пляшущаго учителя:

— Духъ внушаете?

— Такъ точно, ваше превосходительство. Духъ! по системѣ Proctor'a!

Директоръ вынулъ шелковый платокъ и, помахивая имъ, прошелся русскую.

Урокъ математики былъ конченъ.

Слѣдующимъ урокомъ былъ французскій языкъ.

Училъ не какой-нибудь французъ-поганецъ, которые лягушекъ ѣдятъ. А настоящій нашъ, русскій человѣкъ. Съ настоящимъ, съ костромскимъ прононсомъ.

Увидѣвъ его, ученики закричали:

— Бонжоуръ, монсіеуръ!

— Говорятъ, шельмецы, какъ пишутъ! — въ восторгѣ воскликнулъ учитель, хватаясь за затылокъ.

И начался урокъ.

— Французскій языкъ, братцы вы мои, весьма похожъ на латинскій, волкъ его заѣшь! Отличается же отъ него только мягкостью, нѣжностью, деликатностью. Что по-латыни грубо, дико, непріятно, то по-французски мягко, нѣжно, деликатно! „Человѣкъ“, напримѣръ, по-латыни: „homo“. Дико, грубо, непріятно! По-французски: „ломъ“! Мягко, нѣжно, деликатно. Женщина — по-латыни „femina“. Дико, грубо, непріятно! По-французски: „лафамъ“! А барышня—„мадмуазель“! Мягко, нѣжно, деликатно!

Въ это время изъ сосѣдняго класса послышалось:

„Ахъ, такой, сякой, камаринскій мужикъ“...

— Что у нихъ тамъ?—спросилъ „французъ“

— Урокъ космографіи.

Вся школа пѣла.

Изъ одного класса несся дискантъ перваго ученика:

„Какъ всѣ русски мужики
Они просто дураки,
Мерзавцы, калина!
Мерзавцы, малина!“

— Урокъ отчизновѣдѣнія по системѣ Сигмы!

А хоръ подхватывалъ:

„Интервью—интервью!
Интервьюшки, вьюшки, вьюшки,
На Сигмочкѣ сапожки сафьяновые,
Ножки маленькія“...

Въ другомъ классѣ съ народной гордостью садили:

„Что за пѣсни, что за пѣсни
Распѣваетъ наша Русь!
Ужъ какъ хочешь, братъ, хоть тресни,
Такъ не спѣть тебѣ, французъ!“

Потомки сотрудниковъ „Новаго Времени“ пѣли отдѣльно:

„Гей ты, молодецъ!“

Въ школѣ пѣли и любили.

А родители смотрѣли и качали головами:

— Какіе изъ нихъ члены „Русскаго собранія“ вырастутъ!

И радовались.

Конкурсъ.

Высшее спеціальное учебное заведеніе. Совѣтъ. На столѣ листы съ результатами конкурсныхъ испытаній.

Директоръ. Ну-съ, приступимъ. Сколько желающихъ?

Секретарь. 500.

Директоръ. Ой-ой-ой! А мѣстъ?

Секретарь. 50.

Директоръ. Ай-ай-ай! Рѣчь можетъ итти, конечно, только о тѣхъ, кто получилъ круглое пять.

Секретарь. Круглое пять на конкурсныхъ испытаніяхъ получило 400 человѣкъ.

Директоръ. Все-таки 400! Удивительная нынче молодежь стала. Прямо старики какіе-то! Ей Богу! Кругомъ „Акваріумъ“, „Крестовскій“, „Неметти“, а они сидятъ и учатся. По-моему, это они нарочно. Назло намъ. „Ага! говорятъ. Назло будемъ учиться!“ И учатся. Знаютъ, что у насъ свободныхъ мѣстъ нѣтъ. Такъ вотъ, чтобъ поставить насъ въ затруднительное положеніе!

2-й профессоръ. Что жъ дѣлать-то, однако?

Директоръ. Прежде всего вычеркнемъ тѣхъ, у кого есть пять съ минусомъ. Хоть одно пять съ минусомъ. Сколько такихъ?

Секретарь. Пятьдесятъ человѣкъ!

Директоръ. Все-таки хоть на пятьдесятъ меньше! Вотъ бы взять да еще хоть сотенки двѣ минусовъ понаставить. Ишь, ишь въ клѣточкахъ сколько мѣста осталось!

2-й профессоръ. Но вѣдь это же невозможно!

Директоръ. Да я и самъ знаю, что невозможно! (*Хватаясь за голову.*) Что жъ дѣлать? Что дѣлать? Господа, нужно немножко психологіи. Отсчитайте только тѣхъ, у кого пять съ точкой. У кого около пятерки стоитъ точка. Точка, это — важная вещь. Я нахожу, что что-нибудь очень хорошо, — я говорю: „Это хорошо“, и добавляю: „Да, это очень хорошо!“ Точка, это показываетъ, что экзаменующійся произвелъ сильное впечатлѣніе. Пять поставилъ и точку,— подтвердилъ! Пять и точка. „Вѣрно“. Выбирайте точки, которыя пожирнѣй!

Секретарь. Съ точками осталось 250. Вотъ тутъ, у этой пятерки, какая-то странная точка. Не то преподаватель поставилъ, не то муха...

Директоръ. Считайте, что муха! Считайте, что муха! Все-таки 249!

3-й профессоръ (*уныло*). А мѣстъ-то пятьдесятъ!

Директоръ. Сейчасъ еще что-нибудь сдѣлаемъ! Съ психологіей кончено, — обратимся къ графологіи. О, графологія, господа, это удивительная наука! Съ ней нельзя не считаться. Меня познакомилъ съ нею одинъ знакомый, — онъ служитъ на государственной службѣ, но занимается графологіей. Важно, какъ пишется цифра! Онъ мнѣ массу на этотъ счетъ интереснаго разсказывалъ. Массу! Показывалъ даже при-

мѣры: цифры Наполеона и какого-то сбѣжавшаго невскаго банкира. Знаете, это невольно какъ-то, инстинктивно сказывается въ почеркѣ. Этакіе рефлексы. Банкиръ, напримѣръ, онъ ставилъ крупныя цифры четко, ясно, а потомъ пошла этакая цифра мельче, неувѣреннѣе, — оказывается, съ этихъ поръ и воровать началъ. Мнѣ отвѣчаютъ, я вижу, я увѣренъ, что это стоитъ пяти. Это ставлю пять, инстинктивно ставлю увѣренно, большую пятерку, во всю клѣтку! А то знаете, неувѣренность этакая является: „Какъ будто это стоитъ пяти?“ И я инстинктивно ставлю маленькую этакую пятерку, боязливую. Это знаете, какъ гимназистъ младшихъ классовъ: не увѣренъ, надо ли поставить запятую, — такъ онъ ставитъ маленькую запятую. Считайте только большія пятерки. Маленькія не считаются!

Секретарь. 149 человѣкъ съ исключительно большими пятерками.

Директоръ. Вотъ видите! Дайте-ка сюда, я пересмотрю. Батюшка, что жъ это вы дѣлаете? Развѣ такъ можно?! Вѣдь это графологія! Смотрите, пятерка до верха не доходитъ, а вы ее считаете! Конечно, съ такими пятерками мы всегда будемъ переполнены!

Секретарь. Да вѣдь чуть-чуть не доходитъ. Можетъ-быть, это даже только такъ кажется.

Директоръ. А! Впечатлѣнье — великая вещь! Кажется, значитъ, было что-нибудь. Колебанье этакое легонькое, — въ почеркѣ оно и выразилось. И къ тому же все-таки одинъ человѣкъ экономіи. Остается ужъ не 149, а всего 148. Прочтите, кто остался.

Секретарь (*читая списокъ*). Ивановъ...

Директоръ. Стойте! Зачѣмъ намъ, напримѣръ, Ивановъ? Въ нашемъ вѣдомствѣ и такъ масса Ивановыхъ. Есть, если я не ошибаюсь, даже Ивановъ 123-й. Что жъ намъ тысячами, что ли, Ивановыхъ считать? „Ивановъ 10,715-й!“ Богъ знаетъ что! Путаница! Въ газеты еще попадешь. Подумаютъ, что все родственники. Вѣдомство Ивановыхъ какое-то. Вычеркните Ивановыхъ, да кстати ужъ и Сидоровыхъ и Карповыхъ. Тоже фамиліи очень распространенныя, и ихъ много.

Секретарь. Поликарповъ тутъ есть. Поликарпова тоже вычеркнуть?

Директоръ. Поликарповъ? Поликарпова у насъ въ вѣдомствѣ ни одного нѣтъ, но все равно, вычеркните и его. Нѣтъ, и не надо! И не къ чему, значитъ, Поликарповыхъ заводить. Оставляйте только фамиліи какія-нибудь такія... понеобыкновеннѣе...

Секретарь. Съ необыкновенными фамиліями все-таки 110 человѣкъ!

Директоръ (*погружаясь въ задумчивость*). По два и одна пятая человѣка на мѣсто!.. Слушайте-ка! Стойте! Нѣтъ ли между ними евреевъ?

Секретарь. Ни одного!

Директоръ. Жаль! Евреи чрезвычайно хороши, когда надо кого-нибудь вычеркнуть. Я помню, у насъ какой случай былъ. Одно мѣсто и 50 кандидатовъ. Бились, бились, 48 кое-какъ вычеркнули. Остается двое. Ни одному нельзя отдать предпочтенья. Не на колѣни же ихъ другъ къ другу сажать по перемѣнкамъ. Вдругъ открытіе: одинъ изъ нихъ еврей! Вы знаете, я чуть-чуть „ура“ въ честь этого еврея не крикнулъ. Всегда я объ этомъ евреѣ съ благодар-

ностью вспоминаю. Спасибо ему, вывелъ насъ изъ затруднительнаго положенія: вычеркнули! Однако, сколько же тамъ остается?

Секретарь. Сто десять!

Директоръ. Все-таки сто десять! Нѣтъ ли между ними хоть некрасивыхъ?

1-й профессоръ. Но что жъ это за резонъ?

Директоръ (*умоляюще*). Какой тамъ резонъ? Хоть подобіе-то резона подайте! И то славу Богу. Наше вѣдомство всегда славилось представительностью своихъ инженеровъ. Мы не только учимся, мы балы даемъ! Къ намъ на балы лучшія дамы Петербурга съѣзжаются. Мы не можемъ! Господа, экзаменуя, вы не замѣтили какихъ-нибудь особенно непривлекательныхъ субъектовъ?

2-й профессоръ. Не обращали на это вниманія. Да и народъ все такой видный! У одного только замѣтилъ носъ пуговицей.

Директоръ. Вонъ человѣка съ носомъ пуговицей! 109! Г. секретарь, вы человѣкъ со вкусомъ. Вы принимали прошенія, должны были замѣтить. Оставьте только такихъ, кто повиднѣе!

Секретарь (*почеркавъ*). Остается 75. Народъ видный. 51 блондинъ и 24 брюнета.

Директоръ. Вонъ брюнетовъ. Не надо брюнетовъ. Пусть будутъ только блондины! Это хоть оригинально. „Свѣтлое вѣдомство“.

Секретарь. Все-таки 51. И все народъ молодецъ къ молодцу! Особенно вотъ этотъ. Прямо красавецъ!

Директоръ (*обрадовавшись*). Красавецъ? Вонъ красавца! Что это на самомъ дѣлѣ? Зачѣмъ намъ красавецъ? У насъ высшее учебное заведеніе, а не

оперетка. Мы не можемъ принимать человѣка только потому, что онъ красавецъ. Красавецъ — вонъ!

Секретарь (*закрывая журналъ*). Пятьдесятъ мѣстъ и пятьдесятъ принято!

Директоръ (*утирая потъ*). Фу-у!.. То-есть я вамъ скажу, съ тѣхъ поръ, какъ я изъ Парижа всѣ женины покупки въ одно купэ долженъ былъ укладывать, никогда еще такъ не уставалъ!

Безъ циркуляра.

Скончался А. Г Кашкадамовъ.

Это имя вызываетъ у меня далекое-далекое воспоминаніе. И не разсказать его было бы неблагодарностью къ покойному.

Это было очень давно.

А. Г. Кашкадамовъ былъ тогда инспекторомъ 4-й московской гимназіи, а вашъ покорнѣйшій слуга — вихрястымъ семилѣтнимъ мальчуганомъ, который только что „блестяще“ сдалъ экзаменъ въ приготовительный классъ.

Я „отлично“ рѣшилъ задачу „на яблоки“:

— У одного мальчика было 5 яблокъ, два онъ съѣлъ. Спрашивается, сколько у него осталось?

Наставилъ въ диктантѣ въ мѣру буквы „ять“ и не смѣшалъ Каина съ Авелемъ.

И вотъ мы стояли съ матушкой въ актовомъ залѣ, передъ безконечнымъ столомъ, покрытымъ зеленымъ сукномъ, и ждали рѣшенія нашей участи.

За страшнымъ совѣтскимъ столомъ сидѣли двое.

Г. директоръ, бритый господинъ въ золотыхъ очкахъ, съ лицомъ не министра, — предсѣдателя комитета министровъ.

И полный, съ сѣдоватыми баками-котлетами инспекторъ Кашкадамовъ.

Директоръ презрительно трясъ въ рукѣ мое метрическое свидѣтельство, смотрѣлъ на мою матушку негодующе поверхъ очковъ и выговаривалъ гнѣвно и раздѣльно:

— Вы позволяете себѣ, сударыня, понапрасну утруждать преподавателей и начальство. Вы приводите экзаменовать вашего сына...

Онъ даже глазомъ не повелъ на меня, словно меня не было.

— ... Когда ему отъ роду всего семь лѣтъ.

— Черезъ пять мѣсяцевъ будетъ восемь, г. директоръ! Мальчикъ готовъ.

Матушка плакала.

Я выросъ въ средней русской семьѣ, которыя какъ огня боятся начальства, и объясненія съ начальствомъ считаютъ однимъ изъ самыхъ большихъ несчастій, какія только могутъ выпасть на долю человѣка.

А потому, видя передъ собой начальство, я горько рыдалъ самымъ безутѣшнымъ образомъ.

Директоръ посмотрѣлъ на мою матушку съ величайшимъ презрѣніемъ:

— Здѣсь, сударыня, не базаръ и не торгуются. Здѣсь казенное учрежденіе, и существуютъ правила. На какомъ основаніи вы позволили себѣ безпокоить преподавателей и начальство, когда въ правилахъ ясно сказано: „въ приготовительный классъ принимаются дѣти не моложе 8 лѣтъ отроду“?!

Добрая матушка! Она знала правила, но все-таки повела на экзаменъ. А можетъ-быть, примутъ въ видѣ

исключенія, увидавъ необыкновенныя способности ея сына?

Всѣ дѣти необыкновенны въ 7 лѣтъ, въ особенности для матерей.

— Г. директоръ! Годъ пропадетъ. Мальчикъ готовъ. Все знаетъ.

Я заревѣлъ еще безутѣшнѣе.

Директоръ презрительно пожалъ плечами:

— Слезами, сударыня, не поможете! Я вамъ человѣческимъ языкомъ говорю: правила:

А инспекторъ Кашкадамовъ погрозилъ мнѣ толстымъ пальцемъ и сказалъ:

— Такой ученый, а плачешь!

Онъ улыбнулся и кивнулъ мнѣ головой.

— Пойди, молъ, сюда.

Я, рыдающій, обошелъ вокругъ стола. Кашкадамовъ погладилъ меня по головѣ:

— Малъ, братъ, еще въ гимназію ходить. Поиграй еще въ казаки-разбойники, въ лошадки, въ бабки.

Годъ я мечталъ о гимназіи, и теперь это желаніе, полное отчаянія, душило меня.

— Господинъ инспекторъ Кашкадамовъ, — завопилъ я, — я не хочу играть...

Я зарыдалъ еще горше.

— Я хочу учиться!

Кашкадамовъ засмѣялся и кивнулъ на меня головой директору:

— А?

Директоръ пожалъ плечами?

— Родился въ январѣ, а теперь августъ. Какой же можетъ быть разговоръ!

Но я чувствовалъ въ Кашкадамовѣ спасенье. И зарыдалъ отчаяннѣе:

— Господинъ инспекторъ Кашкадамовъ, ей Богу, честное слово, я буду хорошо учиться. Примите только меня въ гимназію!

Онъ гладилъ меня по головѣ, улыбался и качалъ головой.

— Господинъ инспекторъ Кашкадамовъ, — говорилъ я, рыдая, самымъ убѣдительнымъ тономъ, — экзаменуйте меня сколько хотите, только примите меня въ гимназію!

Должно-быть, я считалъ экзаменъ чѣмъ-то въ родѣ пытки.

— Я и ари... ари... ариѳметику... Я и гра... гра... матику... Я законъ Божій знаю! Хотите, я вамъ что-нибудь ска... ска... жу... жу...

Я окончательно захлебнулся слезами.

Кашкадамовъ обнялъ меня за талію.

Я видѣлъ, какъ онъ, улыбаясь и вопросительно, смотритъ на директора.

— А если сдѣлать исключеніе? Ужъ очень мальчишкѣ учиться хочется.

— Годъ потеряетъ! — плакала матушка.

— Законъ Божій знаю! — рыдалъ я.

Директоръ уже съ отвращеніемъ пожалъ плечами:

— Удивляюсь вамъ, Алексѣй Гордеевичъ! Тутъ казенное учрежденіе, и существуютъ правила! Надо, наконецъ, внушить имъ...

Онъ кивнулъ на мою матушку такъ, какъ на неодушевленный предметъ.

„... Уваженіе къ казеннымъ учрежденіямъ и къ правиламъ...“

А я мочилъ слезами вицмундиръ Алексѣя Гордеевича.

И инспекторъ, улыбаясь немножко виновато, говорилъ:

— Изо всего вѣдь пятерки!

Директоръ ужъ безнадежно пожалъ плечами:

— Если вы остаетесь при особомъ мнѣніи, Алексѣй Гордеевичъ, я передамъ вопросъ на разрѣшеніе педагогическаго совѣта.

И строго сказалъ моей матушкѣ:

— Можете итти съ вашимъ сыномъ. Вопросъ о принятіи или непринятіи будетъ разрѣшенъ педагогическимъ совѣтомъ.

— Г. директоръ...

— Я вамъ говорю, можете итти, сударыня...

Такой презрительный тонъ только и можно услышать, что въ школѣ по отношенію къ родителямъ.

— Г. инспекторъ скажетъ вамъ, когда зайти за рѣшеніемъ. Ступайте!

Матушка поклонилась, плача взяла меня, горько рыдающаго, за руку, и мы пошли, какъ двое виноватыхъ и ждущихъ наказанія.

А инспекторъ Кашкадамовъ проводилъ насъ до дверей и потихоньку сказалъ моей матери:

— Не безпокойтесь. Я похлопочу!

Я радостно взглянулъ на „господина инспектора Кашкадамова“.

На меня, улыбаясь, смотрѣло полное, добродушное, насмѣшливое лицо.

Онъ взялъ меня толстыми пальцами за щеку:

— Будешь, братъ, такъ въ гимназіи ревѣть, — въ карцеръ посажу!

„Въ гимназіи“, это звучало для меня, какъ музыка.

— Господинъ инспекторъ Кашкадамовъ, я плакать не буду! — увѣрялъ я, заливаясь слезами.

— Годъ пропадетъ! — жаловалась матушка.

— Да вѣдь правила, сударыня! Ну, да я похлопочу! Вы не безпокойтесь, вы не безпокойтесь.

Черезъ три дня матушка вернулась изъ гимназіи съ ликующимъ лицомъ:

— Инспекторъ Кашкадамовъ велѣлъ только, чтобъ ты хорошо учился. Пойди сюда, я тебя поцѣлую, гимназистъ ты мой.

Я началъ ходить на головѣ. Матушка плакала отъ радости.

Простите за эту „дѣтскую“ исторію, гдѣ все такъ мелко и такъ ничтожно, но я не умѣю лучше прославить память стараго учителя, который почилъ теперь отъ долгаго и добраго труда.

Мнѣ врѣзалась въ память каждая подробность этой сцены. Немудрено. За всю свою гимназическую „карьеру“ я помню не болѣе трехъ случаевъ, когда ко мнѣ отнеслись по-человѣчески. Трудно было бы забыть.

Фигуры этихъ двухъ педагоговъ, — директора и инспектора Кашкадамова, — вставали въ моей памяти всякій разъ, когда недавно такъ много говорилось о нашей средней школѣ.

И я видѣлъ ихъ обоихъ ясно, совершенно ясно, хотя все это и случилось давно.

Очень давно.

Когда еще относиться съ любовью къ ученикамъ не было предписано циркулярами.

Посѣтитель.

Человѣкъ, который зашелъ ко мнѣ, былъ среднихъ лѣтъ, прилично одѣтый, съ благообразнымъ и добрымъ лицомъ. Но когда онъ вспоминалъ, на лицѣ его были муки и боль, словно онъ до сихъ поръ чувствовалъ то, что происходило когда-то, давно. Его дергало.

— Я къ вамъ зашелъ по курьезному дѣлу! — съ натянутой улыбкой и, видимо, чувствуя неловкость, началъ онъ. — Очень... очень курьезно. Былъ у меня, знаете, сослуживецъ. Лѣтъ шестидесяти. Такъ тотъ, какъ бывало напьется пьянъ, такъ начинаетъ плакать, что гимназіи не кончилъ! Вотъ такъ и я-съ... Я пришелъ вамъ пожаловаться, что меня за невзносъ платы за „право ученія“ исключили.

— Васъ?!

— Меня-съ. 23 года тому назадъ. Правда, забавно-съ? Нашелъ, когда вспомнить! А только я этого дня никогда не забывалъ-съ. И умирать буду—не забуду. Всѣ дни забуду, а этого дня не забуду. Когда мнѣ объявили, что всѣ мои ходатайства объ освобожденіи отъ платы оставлены безъ послѣдствій и за невзносъ „правоученія“ я подлежу увольненію, я сказалъ: „Честь имѣю кланяться“, честь-честью поклонился и даже улыбнулся. Потому что страдалъ очень. Кто

страдаетъ, тотъ и улыбается. На-дняхъ я въ газетахъ читалъ, что какого-то „злодѣя“,—у насъ какъ судомъ приговорили, хоть бы по ошибкѣ, такъ и „злодѣй“, уваженіе-съ къ юстиціи-съ!—какъ какого-то злодѣя приговорили къ 20 годамъ каторги, и какъ злодѣй выслушалъ приговоръ цинично, спокойно, „даже улыбаясь“. Какой ужасъ! Да вѣдь потому, судари вы мои, и улыбается человѣкъ, что ужъ очень онъ страдаетъ. Страданіе, это—какъ дыра въ панталонахъ. Есть у васъ въ панталонахъ дырочка, незамѣтная дырочка, а вамъ кажется, что весь міръ ее видитъ. И закрываете вы ее и закрываете! Страданіе у васъ страшное на душѣ, и кажется вамъ, что весь міръ его видитъ. И закрываете вы его улыбкой, чтобъ любопытные не смотрѣли. И дѣлаетъ человѣкъ видъ: „Мнѣ, молъ, это ничего! Какъ съ гуся вода! Видите, видите, я даже улыбаюсь!“ Выходилъ я и говорилъ себѣ: „Вотъ и отлично! Вотъ и отлично!“ И „стѣны заведенія“ были мнѣ отвратительны, казались стѣнами лупанара. Дотронуться до нихъ пальцемъ, краемъ пальто противно было. Профессора, „люди науки“, за которыми мы бѣгали, которыми мы вдохновлялись, бодрящее общество товарищей,—все это, какъ семга въ „Ревизорѣ“: „для тѣхъ, которые почище-съ“. Наука, какъ продажная тварь, принадлежитъ только тому, у кого есть деньги. Какое ей дѣло до вашихъ „чувствъ“! По любви она не отдается. Продажная тварь, она принадлежитъ всякому мерзавцу, который можетъ ей заплатить. Всякому сыну лавочника и самому въ душѣ лавочнику, который является сюда, чтобъ лучше вооружиться ею „на жизнь“ для волчьихъ подвиговъ,—она раскрываетъ свои объятія: „пожалуй, голубчикъ!“

Каждому мерзавцу, который отъ младыхъ ногтей думаетъ: „Вотъ сдѣлаю карьеру, буду у другихъ на спинахъ ѣздить“, она принадлежитъ. Каждому пустельгѣ, купчишкѣ, родители котораго вылѣзли „въ люди“, богатому дворянчику, — которые волочатся за ней изъ тщеславія, чтобъ потомъ этимъ похвастаться, она принадлежитъ. Всѣмъ, кромѣ тѣхъ, у кого нѣтъ денегъ. Продажная тварь! И я перебиралъ въ умѣ всѣхъ своихъ товарищей, и никогда мнѣ не казалось, что міръ такъ переполненъ мерзавцами. Девять десятыхъ изъ моихъ товарищей я находилъ въ ту минуту мерзавцами. И всѣмъ имъ наука будетъ принадлежать! А мнѣ вотъ нѣтъ, потому что у меня нѣтъ денегъ, чтобы ей заплатить. Какъ женщина въ лупанарѣ. У меня была истерика въ душѣ, и я хохоталъ:

— Посмотришь на студенчество, какой все честный, „свѣтлый“ народъ. Откуда же потомъ берутся негодные адвокаты, карьеристы-прокуроры, выѣзжающіе на чужомъ мясѣ, на чужой крови, на чужихъ страданіяхъ, „не сказывающіеся дома“ доктора, отказывающіе въ помощи умирающему, потому что онъ не въ силахъ имъ заплатить? Откуда берутся они всѣ? Это какъ дѣти. Въ шесть лѣтъ всѣ дѣти „удивительно умны“. Откуда только потомъ берется на свѣтѣ столько дураковъ!

Несправедливъ я былъ тогда, да вѣдь и ко мнѣ какъ были несправедливы!.. Кругомъ торгуютъ, копаются надъ чѣмъ-то, говорятъ, что „работаютъ“, и что это „святое дѣло“, пеленки для дѣтей покупаютъ, въ газетахъ пишутъ, а передъ человѣкомъ захлопнули двери къ знанію, потому что у него нѣтъ... денегъ.

Изъ „храма науки“,—„храма науки“ вѣдь—чортъ ихъ побери!—потому что у него заплатить было нечѣмъ, вытолкали. И никому до этого нѣтъ никакого дѣла! Лежитъ человѣкъ на мостовой, и всѣ мимо идутъ. Эхъ, всѣхъ бы васъ.., Къ счастію, жизнь моя сложилась такъ, что дипломъ мнѣ ни разу не потребовался. Развѣ иногда мерзавецъ какой-нибудь, — измерзавившійся вконецъ вѣдь! — ткнетъ: „вы, молъ, университета не кончили, а мы — университетскіе“... Ну, да я такъ жизнью закалился, что на всякаго мерзавца могу съ улыбкой смотрѣть и думать: „раздавлю я тебя въ свое время, гадину. Въ свое время! Когда обстоятельства насъ поставятъ, что ты будешь подо мною, а я надъ тобою. Дай только времени и обстоятельствамъ насъ въ удобную позицію поставить!..“ Да вотъ еще, какъ значки эти попили, и всѣ эти ордена за аккуратный взносъ платы за ученье нацѣплять стали. Улыбнетесь вы, мелочно это. Но когда рана болитъ и не заживаетъ, всякое малѣйшее прикосновеніе ее бередитъ. Будешь мелочнымъ, когда больно. Нацѣпитъ этакій вислоухій дуракъ на лацканъ сюртука квитанцію во взносѣ причитавшихся съ него „за правоученіе“ денегъ и ходитъ: „я существо высшаго порядка!“ И на всѣхъ, у кого такой квитанціи не нацѣплено, смотритъ презрительно. Ну, иногда и злость беретъ. Такая же злость, какая бы взяла, если бъ человѣкъ вамъ ежеминутно надоѣдалъ: „а у меня тогда-то 40 рублей было, а у тебя не было! Что? А у тебя не было, не было, не было!“ Глупо,—а злишься!

— „Эге,—скажете, однако, вы, — чего жъ ты тутъ жалуешься? Диплома, по твоимъ же словамъ, тебѣ въ жизни ни разу не понадобилось, значкамъ и прочимъ

„знакамъ отличія“ ты, какъ видно, значенія не придаешь. Чего жъ тебѣ надобно? Образованія? Такъ для этого и самообразованіе есть“.

Самообразованіе! Хорошо, что я юристъ. А представьте себѣ, что я былъ бы медикомъ. Тутъ самообразованіемъ не займешься. Ну, да это въ сторону. Самообразованіе! Случалось вамъ въ юности веселой шумной гурьбой взбѣгать на высокую крутую гору. Ногъ подъ собой не чувствуешь, устали нѣтъ, крутизны не замѣчаешь,—летишь! Ежели толпой. А если одному-то карабкаться и взбираться? А? Нѣтъ живого человѣческаго слова, въ душу льющагося, — одна мертвая, бѣлая книга. Былъ у меня одинъ знакомый нѣмецъ. Такъ тотъ почему-то вздумалъ, что ему надо аптечнымъ способомъ питаться, и все въ порошкахъ и пилюляхъ принимать. Мяса онъ не ѣлъ, а принималъ мясной порошокъ. Супа не ѣлъ, а принималъ тройной экстрактъ изъ бульона въ видѣ желе. Живъ былъ нѣмецъ, но чахлая была скотина. Такъ, не человѣкъ, а словно слипшійся порошокъ человѣка. А книга, это—порошокъ мысли, это—мысль въ пилюлѣ. Нужно живое общеніе съ людьми, которые работаютъ надъ тѣмъ же дѣломъ, такъ же страстно стремятся къ знанію. Тяжело по вечерамъ, при желтомъ свѣтѣ лампочки, одному по мертвой книгѣ самообразованіемъ заниматься. Словно въ чуланъ тебя заперли: „усовершенствуйся!“ А когда на васъ вдругъ сомнѣніе найдетъ: „да нужно ли все это?“ — тогда вы что одни-то подѣлаете? Когда кругомъ васъ толпа жизнерадостной молодежи,—вы ужъ ея душой живете, а не своей. Отъ окружающихъ вѣрой заражаетесь. Трудно человѣку въ одиночномъ заключеніи жить, а учиться и еще труд-

нѣе. Тяжко юношѣ одинъ на одинъ бороться съ сомнѣніями. Сопьешься или рукой махнешь и свиньей сдѣлаешься. Многіе тѣмъ и кончаютъ. Но меня злость спасала. „Врете, подлецы,—у которыхъ были деньги „на право ученія“,—не меньше васъ знать буду!“ И даже больше многихъ знаю. Да вѣдь стоило-то чего! Идешь одинъ, въ темнотѣ, ощупью дорогу ищешь. Гдѣ бы бѣгомъ бѣжать можно было, какъ черепаха ползешь. Въ душѣ, бывало, отъ обиды и злости плачешь: „Время трачу, и лучшее время. Труда сколько! И часто на что? На то, что всякому, у кого есть за „правоученіе, безо всякаго труда дается“. Экая имъ-то привилегія. Злость возьметъ поневолѣ! Вы меня, можетъ-быть, спросите, сколько же при такой своей лютой злобѣ, которой живу, которой дышу, злодѣйствъ надѣлалъ? Хотѣлъ много, не сдѣлалъ ни одного. Обстоятельства такъ складывались, что мнѣ къ злодѣйствамъ никакихъ поводовъ не было. Напротивъ! Обстоятельства такъ сложились, что я даже не мало путнаго обществу, быть-можетъ, сдѣлалъ. Но дѣлалъ я это съ презрѣніемъ, съ отвращеніемъ — какъ, знаете, видишь на дорогѣ полураздавленную лягушку, возьмешь ее да осторожненько на травку и переложишь. Жалѣя, доброе дѣло ей дѣлаешь, но дѣлаешь съ омерзѣніемъ. И никогда я истиннаго удовольствія, теплоты, родственнаго чего-нибудь при этомъ не чувствовалъ. Общество, создавшее такія условія, при которыхъ „двери знанія“ закрываются передъ тѣмъ, кто не можетъ заплатить „за входъ“! Отъ него, алчущаго и жаждущаго, прячутъ знаніе. „Знаемъ, а не скажемъ, потому что у тебя заплатить нечѣмъ“. Общество. Все презираю я въ немъ! И всѣ громкія слова,

которыя оно произноситъ, кажутся мнѣ лицемѣріемъ, фарисействомъ. „Общественные интересы“. Ваши интересы—выжать изъ отдѣльной личности все, что можно, и если вамъ удается при этомъ ничего не заплатить, вы, алтынники, говорите человѣку, котораго вы обобрали: „это съ вашей стороны безкорыстное служеніе!“ Вы говорите о безкорыстіи, вы — общество, въ которомъ даже истина продается. „Нравственность“ какъ одинъ изъ устоевъ общества. Вотъ слово, котораго я ненавижу, и когда его произносятъ при мнѣ, я смѣюсь въ душѣ: „ахъ, подлецы, подлецы! А вышвыривать юношу изъ „храма знанія“ за то, что у него нѣтъ денегъ, это нравственно?“ Нѣтъ у общества большого врага, нѣтъ. То-есть есть, — такіе же какъ я, передъ которыми въ одинъ прекрасный день захлопнули дверь съ циничною фразой: „денегъ нѣтъ, и ученья нѣтъ!“ Эта обида, эта величайшая несправедливость никогда не забудется. Никогда! У насъ, извольте замѣтить, человѣку когда больше всего въ душу плюютъ? Когда онъ молодъ. Ты пожившему человѣку въ душу плюй,— у него душа, какъ подошва, плохо чувствуетъ даже, что мокро. А юная душа покрыта еще пленочкой. Стоитъ хорошенько харкнуть, пленочка и прорвалась. И раночка. А если даже и зарубцуется, то больной рубецъ будетъ. Больной! На всю жизнь общество юношѣ на душу клеймо, разожженнымъ желѣзомъ клеймо, кладетъ: „Вотъ каковы мы, подлецы. Помни это всю жизнь“. И будетъ помнить. И никогда не забудетъ. Всѣ обиды, всѣ несправедливости забудетъ, а этой несправедливости, этой обиды никогда не забудетъ, потому была первая, тягчайшая и незаслуженнѣйшая, и очень юной и болѣзненно-чувствительной

душѣ нанесена. Никогда не примирится. И поступая такъ, общество готовитъ себѣ злѣйшихъ, заклятѣйшихъ враговъ. Въ его ли это расчетахъ? Я въ другія чувства и побужденія общества не вѣрю — не расчетъ. Въ его ли расчетахъ себѣ враговъ готовить?

Вы спросите меня, быть-можетъ, зачѣмъ я это все вамъ разсказать явился. А видите ли. У насъ два раза въ годъ съ молодежью то дѣлаютъ, что со мной сдѣлали. Два раза въ годъ молодежь то чувствуетъ, что я тогда перечувствовалъ. И вотъ теперь то же предстоитъ. Газеты въ такихъ случаяхъ статьи очень милыя печатаютъ и на жалость бьютъ: „Пожалѣйте, молъ, молодежь! Они такіе огорченные“. Нѣтъ, скажите имъ, — они не только огорчаются, они озлобляются. Озлобляются! Вы противъ себя оружіе готовите! Не допускайте до этого! Въ видахъ самосохраненія не допускайте! Что на самомъ дѣлѣ все жалиться да жалиться. Вы ихъ этимъ и припугните... припугните ихъ... хе-хе... припугните...

Призракъ.

Это было года два тому назадъ въ Петербургѣ.

Въ дверь моего номера постучали.

— Войдите!

Изъ передней раздался голосъ:

— Позволите?

— Да входите же!

На порогѣ появилась фигура.

Вѣроятно, какой-нибудь мастеровой безъ мѣста.

Обтрепанный пиджакъ. Рыжіе сапоги въ заплатахъ. Загорѣлое лицо. Вылинявшая рубаха. Скомканный порыжѣвшій картузъ въ рукахъ.

Онъ стоялъ и кланялся.

— Что вамъ нужно? Говорите, голубчикъ, скорѣй! Я занятъ!

Я полѣзъ въ карманъ за кошелькомъ.

— Въ чемъ дѣло?

Онъ поклонился.

— Позвольте представиться. Народный учитель...

Мнѣ стало страшно совѣстно. Я растерялся.

Мы стояли другъ передъ другомъ растерянные, оба красные.

— Ради Бога простите! Садитесь пожалуйста! Чѣмъ могу быть полезенъ?

„Вотъ онъ, сѣятель на нивѣ просвѣщенія, пришелъ ко мнѣ,—какъ я его принялъ?!“

„Сѣятель“ сѣлъ, смущенно комкая въ рукахъ старый картузъ.

— Я пришелъ просить у васъ помощи... Пріѣхалъ въ Петербургъ хлопотать... Ходовъ никакихъ... Знакомые указали на васъ... У васъ, вѣроятно, много знакомствъ... Не окажете ли мнѣ протекцію:..

— Какъ разъ по вашему вѣдомству ни одного знакомства!

— Да мнѣ не по своему... Мнѣ бы мѣсто сидѣльца винной лавки!

Часъ отъ часу не легче.

Было гадко. „Сѣятель“—и въ питейное!

— Винной лавки?

— Винной лавки-съ!

— Изъ народной школы?!

По губамъ его мелькнула улыбка, жалкая, настоящая страдальческая улыбка.

Такъ, когда гроза и буря пройдутъ, на небѣ мелькаетъ еще слабая зарница.

Буря была уже, тяжелая буря, въ этой душѣ, и теперь зарницей мелькнула страдальческая улыбка.

Мнѣ стало жаль его.

— Простите меня... Но какъ же такъ?

Онъ поднялъ на меня глаза, и въ этихъ глазахъ было много скорби и долгаго, молчаливаго страданія.

— Меня призракъ замучилъ.

— Призракъ?

— У каждаго человѣка есть призракъ, который его мучитъ. У одного — слава, у другого — богатство.

У васъ, вѣроятно, цензура. У нашего брата, народнаго учителя, тоже есть свой призракъ.

— Я знаю. Нужда!

Онъ пожалъ плечами и оглядѣлъ свой костюмъ.

— Когда сапоги въ заплатахъ, пиджакъ съ плечъ валится, рубаха по цѣлому расползается, — какой же нужда призракъ? Это самая реальная дѣйствительность, а не призракъ.

Мнѣ хотѣлось показать, что я понимаю, сочувствую.

— Тоска? Я вижу положеніе интеллигента, заброшеннаго въ глушь деревни. Все, чѣмъ красна наша жизнь, — искусство, литература, кружокъ людей, съ которыми можно перекинуться словомъ, — какая-то сказка. Ни собесѣдника ни книги.

— Какая же книга?

Онъ грустно улыбнулся и пожалъ плечами.

— Захочется почитать, возьмешь учебникъ, перечитаешь. Все-таки печатныя буквы! Какія у насъ могутъ быть книги?! Нѣтъ, и не тоска. Отъ тоски есть дѣло. Отдайся дѣлу до самоотверженія, устань. Нѣтъ, другой призракъ меня замучилъ!

— Какой же? Что же?

Становилось жутко: ужъ не сумасшедшій ли?

А онъ смотрѣлъ глазами, въ которыхъ, въ глубинѣ, свѣтился ужасъ, словно онъ видѣлъ передъ собой и сейчасъ этотъ призракъ.

— Что же за призракъ?

— У васъ были когда-нибудь дѣти? — спросилъ онъ тихо.

— Нѣтъ.

— Тогда объяснить вамъ это трудно. Это надо самому почувствовать. Когда ваша жена начинаетъ

ходить припухлая, и ея прихоти и капризы наполняютъ васъ и радостью и тревогой за нее. Это два уже существа ходятъ. И оба вы любите всей душой. И вы любите ее вдвойнѣ. Два самыхъ дорогихъ существа, которыя слиты въ одно.

Его красное, загорѣлое, обвѣтрившее лицо стало мягкимъ и нѣжнымъ.

— Это очень радостныя минуты.

— Какой же призракъ?

— Въ эти-то радостныя минуты мнѣ и явился призракъ. Я совсѣмъ ужъ было заснулъ мертвымъ сномъ, за день усталъ страшно. Мысли стали ужъ такъ пріятно въ головѣ путаться, какъ всегда передъ сномъ бываетъ. Какъ вдругъ среди красныхъ, синихъ, золотистыхъ круговъ, искръ и узоровъ появился ребенокъ. Не знаю, мальчикъ, дѣвочка, лица не разсмотрѣлъ,—но по чувству, которое охватило меня, я сразу понялъ, что это онъ, мой будущій ребенокъ. Остановился передо мной и прозвенѣлъ дѣтскимъ голоскомъ:

„Папа, а на что ты меня на свѣтъ произвелъ?“

— И весь сонъ у меня вдругъ какъ рукой сняло. Вскочилъ на постели. Сижу. Глаза таращу. А ребенокъ передо мною стоитъ и молчитъ. Словно отвѣта ждетъ. Галлюцинація-съ? Бредъ? А жена рядомъ спитъ, ровное, глубокое дыханіе ея слышится. И въ этомъ глубокомъ дыханіи я слышу два дыханія. Какой же это бредъ? Живая дѣйствительность!

Учитель досталъ красный клѣтчатый платокъ и вытеръ имъ вспотѣвшее лицо.

Отъ того, что онъ говорилъ, бѣднягу, видимо, бросало то въ холодъ, то въ жаръ.

— Во второй разъ призракъ явился мнѣ на деревнѣ. Я деревню люблю, въ учителя пошелъ по влеченію, но ходить по деревнѣ всегда тяжело. Это все равно, что итти по вспаханному и только что засѣянному полю. Тутъ вырастетъ, если не побьетъ градомъ. Но пока-то еще пахнетъ только разрытой землей, могилой. Не то, знаете, нашему брату обидно, что всякій себя надъ тобою, народнымъ учителемъ, начальствомъ считаетъ и власть показываетъ. Отъ этого улыбкой оборониться можно. Вспомнишь „Ревизора“: „бѣда служить по ученой части, всякій вмѣшивается, всякій показываетъ, что онъ тоже умный человѣкъ“. И посмѣешься. То тяжело, что эти самые, которымъ служишь, которымъ жизнь отдаешь, по темнотѣ своей тебя если не за врага, то за лишняго человѣка считаютъ. „Сидитъ баринъ на нашей шеѣ. На нашъ счетъ кормится. Только деньги наши переводитъ. Дармоѣдъ-баринъ, какъ бы на мужиковъ счетъ прожить, только о томъ и думаетъ“. Вотъ почему тяжело ходить по деревнѣ. Иду я, задумался. Гляжу,—и затрясся весь, чуть не закричалъ отъ ужаса. Подъ окнами избы ходитъ ребенокъ. Мой ребенокъ. Я сразу его узналъ, потому что сердце захолонуло. Ходитъ отъ окна къ окну, кланяется и проситъ кусочковъ. Слезливымъ голосомъ вопитъ: „Подайте, Христа ради, сиротѣ! Тятька померъ, мамка больная лежитъ! Подайте голодненькому“.

— Послушайте! Это же, дѣйствительно, галлюцинація! Вамъ бы съ докторомъ...

Учитель задрожалъ и испуганно замахалъ руками.

— Не говорите про доктора! Не говорите!

Онъ наклонился ко мнѣ и почти шопотомъ, словно какъ для того, чтобъ самому не слышать, сказалъ:

— Боюсь. Грудью я слабъ. Вдругъ пойду къ доктору, а онъ скажетъ.. Вы знаете, чахотка вѣдь такъ „учительской болѣзнью“ и называется. Прежде-то я, знаете, ничего. А вотъ какъ стала жена съ торжественнымъ и радостнымъ лицомъ ходить, — я закашляюсь, меня всего въ холодный потъ броситъ, и зубы стучатъ. Я закашляюсь, а онъ передо мной и станетъ. Онъ. Призракъ. Ребенокъ-то мой. Глядитъ на меня. Я теперь ужъ и глаза его вижу, — лица не разсмотрю, а глаза вижу, материнскіе. Глаза испуганные, широко смотрятъ. И говоритъ:

„На кого жъ ты меня, папа, оставишь?“

— И у меня отъ этого „папа“ все сердце перевернется. И мило на душѣ невѣроятно и страшно. А то еще жена подойдетъ, когда закашляюсь, воды подастъ, по головѣ меня погладитъ. „Ты бы, папа, такъ себя не утруждалъ...“ Она меня съ тѣхъ поръ, какъ въ положеньи, „папой“ зоветъ. И чудится мнѣ, что въ ея голосѣ онъ, ребенокъ, говоритъ. Призракъ! Она вѣдь теперь за двоихъ думаетъ. Это не только ея, это и его мысли. Страшно мнѣ, страшно кашлять!

И какъ назло, онъ закашлялся. Кашлялъ долго, мучительно, затяжнымъ кашлемъ.

Потомъ посмотрѣлъ на платокъ и вздохнулъ облегченно:

— Нѣтъ, крови все еще нѣтъ. Хотя бѣлые бы платки надо было завести. На бѣломъ видиѣе... А красное на красномъ...

Онъ все-таки повеселѣлъ

— Предводитель у насъ уѣздный. Жизнерадостный такой, дай Богъ ему. У насъ его по уѣзду „пѣтухомъ“ зовутъ. Но хорошій такой пѣтушокъ. И „ку-ка-ре-ку“ хорошее кричитъ, радостное. Предутреннее!

И при мысли о „пѣтушкѣ-предводителѣ“ добрая улыбка заиграла на лицѣ у учителя.

— За нашего брата пѣтухъ на кого угодно наскочитъ, и каждую минуту готовъ разодраться. Очень славный пѣтушокъ. У него имѣніе огромнѣйшее. Какъ кто въ гости пріѣдетъ, — онъ сейчасъ великолѣпную тройку или четверикъ.. Бубенчики... И по школамъ повезетъ. Мы его слабость. И когда шампанское подаютъ, онъ никогда не пропуститъ, чтобъ за наше здоровье тоста не выпить. Очень хорошій пѣтушокъ! Пріѣзжаетъ онъ какъ-то ко мнѣ. И съ нимъ гость изъ Петербурга. Какъ назвалъ имя, я глаза вытаращилъ и вдругъ себя меньше песчинки почувствовалъ. Писатель..

Учитель назвалъ имя писателя, дѣйствительно, громкое, „много говорящее уму и сердцу“

— Осанистый такой старикъ. Грива львиная. И во всей головѣ что-то львиное чуется. Борода надвое. Въ пенснэ Глаза ясные и глубокіе. Ума въ нихъ, ума! И все лицо и радушное и серьезное. Показалъ я имъ школу. Школа у меня,— это могу сказать съ увѣренностью, — ведется хорошо. Какъ народную школу показать можно. Предводитель около писателя въ восторгѣ ходитъ. „Вотъ онъ одинъ-съ изъ невидныхъ „пахарей“. вотъ одинъ изъ сѣятелей-то на нивѣ народной. Какое дѣлище незамѣтно дѣлаетъ! По убѣжденію въ народные учителя пошелъ! Какъ школу ведетъ!“ Знаменитый писатель вопросы предлагаетъ. О

всемъ спрашиваетъ. И что ни вопросъ, — такъ глубоко, мѣтко, умно. Видно, что человѣкъ любитъ дѣло и понимаетъ. Вотъ если бы наши инспектора такъ спрашивали! Хожу я съ ними, ногъ подъ собой не чувствую. Плакать отъ радости хочется. Сжалъ мнѣ на прощанье писатель руку, безъ словъ, такъ сжалъ, словно всю душу въ этомъ рукопожатьѣ передать хотѣлъ. Сѣлъ въ коляску. Зазвенѣли бубенчики. Только пыль столбомъ. А я стою, слезы на глазахъ. Какой чести удостоился! Самый передовой публицистъ, „властитель думъ“, и учитель, на статьяхъ котораго воспитывался, братски руку пожалъ, товарищемъ призналъ. Отъ радости, отъ счастья дрожу. Одна такая минута за все вознаграждаетъ. А изъ пыли-то, поднятой предводительской рессорной коляской, передъ моими глазами „онъ“ вырастаетъ. Призракъ! Ребенокъ-то мой! Широко открылъ глаза, на меня смотритъ.

„Что ты, папа, себя для народа въ жертву принесъ, это—прекрасно!—звенитъ дѣтскимъ голоскомъ.— Но меня-то за что же въ жертву приносишь?“

— Задрожалъ я въ ужасѣ. Такъ Авраамъ, вѣроятно, дрожалъ, трепеталъ всѣмъ тѣломъ, когда ножомъ надъ Исаакомъ замахнулся. И въ ужасѣ оглянулся я кругомъ: гдѣ же ангелъ, чтобъ меня за руку схватить и „остановить подъятую руку“?

И дрожавшій въ страхѣ, словно все это закланіе происходило передъ нимъ, учитель заплакалъ:

— Простите... Но не могу я... Не могу... Призракъ меня замучилъ... И избавиться отъ него не могу. И не желаю! Какъ же я отъ него избавляться буду, когда онъ самое дорогое для меня въ жизни? А замучилъ онъ меня, замучилъ. Я въ школѣ передъ ре-

бятишками стою. Весело это! Весело смотрѣть, какъ въ ихъ глазенкахъ просыпается мысль. Весело, когда хоръ звонкихъ голосовъ за тобой урокъ повторяетъ. Словно хоръ маленькихъ колоколовъ пасхальную заутреню звонитъ. Весело, радостно! И вдругъ между мной и ими становится мой ребенокъ.

„Имъ ты служишь, папа! А мнѣ, а своему собственному сыну, что ты готовишь?“

„Призракъ! Не могу я быть учителемъ. Призракъ плачетъ. Не учитель я больше... Не учитель“...

И онъ весь дергался, произнося эти слова.

И чувствовалъ я, что это были страшныя для него слова.

Мы долго сидѣли молча.

Онъ сказалъ, наконецъ, глухо, тяжело, какъ говорится отреченье отъ любимаго.

— Помогите. Устройте мнѣ мѣсто сидѣльца въ винной лавкѣ.

Онъ весь съежился, словно его придавило, сгорбился, голова ушла въ плечи.

Онъ добавилъ:

— Если я такъ же усердно поведу лавку, какъ велъ народую школу,—моя лавка будетъ первой винной лавкой кругомъ. Я буду получать награды и повышенія. И меня скоро сдѣлаютъ сидѣльцемъ въ лавкѣ перваго разряда.

Черезъ мѣсяцъ.

„Облетѣли цвѣты, догорѣли огни".

Среди писемъ, полученныхъ на мое имя въ редакціи, есть одно, которому не лежится ни въ карманѣ ни въ портфелѣ. Оно просится въ печать.

М. Г

Прежде всего позвольте представиться.

Я — герой.

Я тотъ самый „великій маленькій человѣкъ", или „маленькій великій человѣкъ", о которомъ, когда Вы писали, слезы умиленія капали съ Вашего пера.

Словомъ, я народный учитель

Заплачьте:

— Какое святое слово!

Впрочемъ, вы, вѣроятно, думаете съ тоскою:

— А! Народный учитель!.. Вѣроятно, опять жалоба!

Нѣтъ, милостивый государь, мнѣ жаловаться не на что. Своимъ положеніемъ я могу только хвастаться

Я старый учитель. Служу дѣлу болѣе 20-ти лѣтъ. У меня — семь человѣкъ дѣтей. Старшая дочь второй годъ учительствуетъ. Вторая черезъ нѣсколько мѣсяцевъ кончаетъ семинарію и тоже начнетъ учительствовать.

Мнѣ остается поднять на ноги и вывести въ люди остальныхъ пятерыхъ.

Чтобъ сдѣлать это на учительское жалованье, я не пью. Со дня рожденія третьяго ребенка бросилъ курить Самъ обшиваю всю семью. Выучился шить. Выучился точать сапоги. И самъ шью обувь на все семейство.

Я изъ крестьянъ Поступивъ на службу въ одно изъ селъ этой губерніи, я приписался къ мѣстному обществу Но новые односельчане воспользовались этимъ, чтобы не выдавать мнѣ квартирныхъ.

— Разъ здѣшній мужикъ, какія ему квартирныя?

Я перевелся въ другое село, и вотъ живу. Получаю 250 рублей въ годъ жалованья, 50 квартирныхъ, за 4 пятилѣтія по 50 рублей за каждое въ годъ добавочныхъ. Итого — 500 рублей.

Для чиновника, записывающаго входящія и исходящія, для репортера, пишущаго о раздавленныхъ собакахъ, для актера, докладывающаго „карета въ барынѣ и гнѣваться изволитъ“, было бы „ужасъ, какъ мало“. Для народнаго учителя — за глаза довольно, и тысячи моихъ коллегъ, прочитавъ эти строки, сказали бы:

— Вотъ счастливецъ!

Итакъ, жаловаться мнѣ не на что. Я берусь за перо просто для того, чтобъ описать вамъ, какъ я вернулся съ учительскаго съѣзда.

Первымъ долгомъ я заѣхалъ въ нашемъ уѣздномъ городѣ къ инспектору, до котораго у меня было дѣло.

Артемій Филипповичъ всегда встрѣчалъ меня съ недовольнымъ лицомъ:

— Чего, молъ, еще притащился! Чего еще надо?

На этотъ разъ онъ, какъ увидѣлъ меня, такъ весь и просіялъ. Улыбка во все лицо, руки потираетъ:

— Ну, что? Побаловались? А? Отвели душу? А?

Молчу

— Такъ какъ же? Насъ, инспекторовъ, по боку надо? А? Упразднить? А?

Молчу.

— Дѣлу мѣшаемъ? А? Тормозимъ? А?

Все молчу.

— Бюрократическое отношеніе вносимъ? А? Самовластвуемъ? А?

Все молчу, все молчу

— Поругали насъ на парламентѣ-то на своемъ?

Смотрю, — у него на столѣ *Московскія Вѣдомости*.

Поиздѣвавшись еще такимъ образомъ, отпустилъ.

Пріѣзжаю вечеромъ къ себѣ въ село, наутро староста приходитъ:

— А міръ съ тебя, Василій Кузьмичъ, рѣшилъ съ весны за двухъ коровъ, за выпасъ, 10 рублевъ положить!

— За что, про что?

— А такъ, мужички говорятъ: „жалованье получаетъ, водки онъ не пьетъ! Съ его можно“.

Основаніе!

— Куды ему? — говорятъ. — Онъ, ишь, и сапоги самъ шьетъ!

И дернулъ меня чортъ горбъ гнуть, надъ сапогами сидѣть! Вотъ тебѣ и экономія!

Я долженъ въ свободное время, согнувшись, за сапогами сидѣть, чтобъ имъ мои 10 рублей на пропой пошли!

— Вы, — староста говоритъ, — въ Москву ѣздили у начальства жалованья выпрашивать, чтобъ больше было. Намъ же тяжельше.

Слухомъ земля полнится.

И откуда только у нихъ слухи берутся!

Въ полдень зашелъ батюшка.

Разспрашивалъ о „свѣтскихъ удовольствіяхъ". Но видно было, что другой вопросъ у него на умѣ.

Наконецъ, только спросилъ:

— И о церковнослужителяхъ тоже отзывались съ порицаніемъ?

— Начитаны, — говоритъ, — мы въ газетахъ. Начитаны. Хотя и вскользь, но есть. Не похвально! Срамить-съ на всю Русь? Я такъ думаю, что отъ высшаго начальства... васъ за это по головкѣ не очень погладятъ!

— Ну, — говорю, — батюшка, я, во-первыхъ, лично за себя никому отчета давать не обязанъ: что я говорилъ, чего я не говорилъ, съ чѣмъ соглашался, съ чѣмъ не соглашался.

— Нѣтъ, нѣтъ! Я не говорю. Я не говорю.

— А во-вторыхъ, относительно съѣзда и начальства, нашъ предсѣдатель князь Долгоруковъ, прямо заявилъ, что никому за высказанныя мнѣнія ничего не можетъ быть!

— Ну, коли такъ, значитъ такъ. Ему, конечно, лучше знать! А только мы, на мѣстахъ, все-таки знать будемъ, съ кѣмъ дѣло имѣемъ. Да-съ!

И ушелъ, едва попрощавшись, разсерженный.

Передъ вечеромъ заходилъ писарь.

Онъ у насъ человѣкъ образованный. Свободное время—за книжкой.

Интересовался:

— А не видали ли вы въ столицѣ, Василь Кузьмичъ, сочинителя Максима Горькаго?

— Нѣтъ, не видалъ.

— Жаль, очень жаль. Интересно было бы знать, дѣйствительно ли такъ волосатъ, какъ пишутъ? И правда ли, будто ему рупь за каждую строку платятъ? Сторку написалъ — рупь. Еще строку — еще рупь.

— Не знаю.

Перешли на съѣздъ.

— Разъясните, говоритъ, мнѣ. Въ толкъ взять не могу. Что такое, напримѣръ, вашъ съѣздъ?

— Вотъ,—говорю,—собрались съ разрѣшенія высшаго начальства, выясняли наши нужды, высказывали пожеланія.

— Тэкъ-съ! А начальство?

— А вотъ эти пожеланія къ нему и пойдутъ!

— Тэкъ-съ! И оно какъ вы порѣшили, такъ тому и быть?

— Ну, это нѣтъ, — говорю. — Вы, Алексѣй Степанычъ, человѣкъ развитой. Вы поймете. Нашъ съѣздъ имѣлъ больше не практическое, а моральное, нравственное, общественное значеніе.

— Тэкъ-съ! Ну, а пожеланіе-то? Пожеланіе?

— Пожеланія выслушаны. Но, отъ васъ не утаю, говорятъ, что врядъ ли будутъ исполнены. Примѣры бывали.

— Тэкъ-съ!

И смѣется.

— Это, — говоритъ, — въ родѣ какъ я господина Гоголя сочиненіе читалъ. „Повѣсть о томъ, какъ поссорились Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ“.

Тамъ тоже Иванъ Ивановичъ, какъ нищую встрѣтитъ, безпремѣнно разспроситъ. „А тебѣ очень, небоже, кушать хочется?“—„Очень, панычу!“—„Ты, можетъ, хлѣбца бы теперь скушала?“—„Да ужъ тамъ чего милость будетъ. И хлѣбца бы скушала“.—„Да тебѣ, можетъ, и мясца бы хотѣлось?“—„Да оно и мясца бы, если милость ваша такая,—хорошо бы!“—„Скажи пожалуйста! Ну, что жъ ты стоишь? Проходи, проходи! Вѣдь я тебя не бью!“ Такъ и васъ разспросили. Пожеланіе вы учебному начальству высказали. „Проходите, проходите! Вѣдь васъ не бьютъ!“ Хе-хе!

Тутъ ужъ я на него разсердился.

Онъ у насъ по селу Мефистофель. На бѣду книгъ начитался и иногда очень ядовито цитаты приводитъ.

И вотъ я, „герой“, о которомъ вы писали со слезами умиленія, сижу снова въ своей хибаркѣ надъ сапогами. Въ окно глядитъ темная ночь, въ трубѣ ноетъ вѣтеръ, и у меня ноетъ, ноетъ въ душѣ.

— За что они у меня отнимаютъ послѣдніе 10 рублей? За то, что я тружусь и не пью?

Мнѣ вспоминается встрѣча съ нашимъ уѣзднымъ предводителемъ на станціи.

Нашъ уѣздный предводитель—отрадное явленіе.

Я вообще замѣтилъ, что за послѣднее время всѣ уѣздные предводители въ „отрадные“ пошли.

Мы ѣхали со съѣзда въ одномъ поѣздѣ.

Онъ—въ первомъ, я—въ третьемъ. Только всего и разницы.

Онъ ѣлъ на станціи котлетку съ горошкомъ, я пришелъ кипяточку набрать.

Остановка двадцать минутъ. Увидалъ меня:

— А, Василій Кузьмичъ! Подсаживайтесь!

Отрадные предводители передъ съѣздомъ всѣхъ своихъ учителей по имени-отчеству узнали, кого какъ зовутъ. По крайней мѣрѣ, тѣхъ, кто на съѣздъ поѣхалъ.

— А,—говоритъ,—Василій Кузьмичъ! Подсаживайтесь. Поболтаемъ, Василій Кузьмичъ! Красненькаго не угодно ли, Василій Кузьмичъ? Недурное.

Разговорились, конечно, про съѣздъ.

— Что, Василій Кузьмичъ...

Онъ такъ и повторялъ ежесекундно: „Василій Кузьмичъ“, словно боясь, чтобъ не забыть.

— Что, Василій Кузьмичъ? Бодрость духа со съѣзда несете? Новыя силы на великую работу, Василій Кузьмичъ?

— Силы,—говорю,—что же! Силы тѣ же самыя. А вотъ скажите, ваше сіятельство, какихъ вы результатовъ отъ нашего съѣзда ожидаете?

— Практическихъ,—говоритъ,—быть-можетъ, и никакихъ! Но съѣзды имѣютъ огромное общественное значеніе! Огромное общественное значеніе, Василій Ильичъ! Это смотры-съ интеллигентныхъ силъ страны, Василій Ильичъ! Смотры-съ передовыхъ элементовъ, Василій Ильичъ!

Таки забылъ!

„Смотры“...

И невольно шевельнулась мысль при этомъ словѣ. „Смотры“.

Смотры — праздникъ для генераловъ, у которыхъ „дивизіи въ порядкѣ“ Смотры—праздникъ для разряженныхъ адъютантовъ, для блестящихъ офицеровъ, которымъ смотръ — случай попарадировать на кровномъ, англизированномъ конѣ. А спросите у простого

рядового, что такое смотръ? Онъ скажетъ вамъ, что ужъ легче походъ, чѣмъ смотры.

— Дефиле! — какъ фыркнулъ нашъ Мефистофель-писарь, когда я упомянулъ ему про „смотры".

И вотъ я сижу надъ сапогами въ своей хибаркѣ. Ночь глядитъ въ окно, въ трубѣ ноетъ вѣтеръ, и у меня ноетъ, ноетъ на душѣ.

— За что у меня отнимаютъ послѣдніе 10 рублей? У героя-то! Совсѣмъ не геройскія мысли?

Ужъ поздно. Пора бы лечь спать. Но сонъ бѣжитъ, и „недостойныя меня мысли" идутъ въ голову вашего „героя".

И нашъ „маленькій великій человѣкъ" зачѣмъ-то садится за столъ и принимается на бумагѣ бесѣдовать,—не съ вами,—съ собой.

— Дефиле!—какъ говоритъ нашъ волостной писарь.

Я снова бесѣдовалъ съ нимъ о съѣздѣ.

— Вижу,— говоритъ,— событія. А значенія ихъ не понимаю. Разъясните пожалуйста. Ну, начальство на ваши „пожеланія" либо взглянетъ, либо нѣтъ.

— Вѣрнѣе нѣтъ. Но, кромѣ учебнаго начальства, есть еще земства, которыя всегда чутки...

— Да что жъ земства-то безъ вашего съѣзда, что ли, не знали, каково таково есть ваше положеніе? Это и въ Москву ѣздить не стоитъ, чтобъ узнать, что человѣку голоднымъ жить невозможно. Это и на мѣстѣ видать! Вонъ я въ другой губерніи служилъ, такъ тамъ учителямъ и вовсе 20 рублей платятъ. Предсѣдатель управы, — отрадная такая личность, — съ какимъ-то еще отраднымъ бариномъ проѣзжали. Остановились, — я разговоръ слышалъ. Съ большимъ чувствомъ предсѣдатель говорилъ: „Свѣтлая личность у

насъ учитель, отрадное явленіе, идейный человѣкъ! А! На 20 рублей съ семьей существуетъ!! Какую нужду терпитъ! Въ кускѣ хлѣба себѣ отказываетъ! А учительствуетъ! Убѣжденный человѣкъ!!“ Чуть слезы не капали отъ умиленія. А по-моему стыдно! „Отрадное явленіе“—и голодаетъ. У насъ все такъ: какъ „отрадное явленіе“, такъ голодаетъ, какъ „печальное исключенье“, такъ живетъ припѣваючи и на всемъ на готовомъ. Человѣку за экій трудъ 20 рублей въ мѣсяцъ давать. На всю семью! Стыдно! Да дѣлать-то что, ежели у земства денегъ нѣтъ? Потому и платятъ мало, что денегъ нѣтъ, и никакіе ваши съѣзды...

— А значеніе съѣзда для насъ самихъ? А общенье? Общества взаимопомощи теперь будутъ какъ развиваться...

Только плечами пожимаетъ.

— Да вѣдь ежели каждому ѣсть нечего, много ли вы другъ другу поможете? „Пойдемъ! — сказалъ безногій безногому. — Вмѣстѣ-то итти веселѣй!“

— Я же вамъ говорилъ, что практическихъ результатовъ съѣздъ не дастъ никакихъ. Но моральные! Общество, по крайней мѣрѣ, узнаетъ, въ какомъ положеніи находится народный учитель!

— Тэкъ-съ! Дефиле, стало-быть.

— Ну, дефиле!

— Это, какъ я въ газетѣ читалъ, въ Лондонѣ. Которые безъ работы—за ручки взялись, ребятъ передъ собой, да такъ во всѣхъ своихъ лохмотьяхъ по всѣмъ улицамъ и пошли. „Смотрите, дескать, люди добрые, какое наше положеніе!“ На засѣданьяхъ, вы сами говорите, вамъ много разговаривать не приходилось. А въ дефиле безъ словъ все видать. На манеръ маске-

радной процессіи, какъ я въ газетѣ читалъ, — оченно занятно. Вотъ вы, напримѣръ, Василій Кузьмичъ, впереди семь человѣкъ дѣтей, за ними ваша супруга съ корытами и бѣлья при ней куча. А затѣмъ вы сами съ дратвой, съ шиломъ, съ сапогомъ. Надпись: „А жалованье — 500, да и то за 20-лѣтнюю службу!“ А въ рукахъ у васъ хрестоматія Галахова. Наглядно. Каждый дуракъ понялъ бы!

Чуть не выгналъ его вонъ.

Но негодяй говоритъ убѣдительно.

— И откуда вы, Василь Кузьмичъ, взяли, будто общество вами интересуется? Ежели бъ въ дѣйствительности интересовалось, никакихъ бы вашихъ „дефиле“ не потребовалось. Давнымъ-давно бы про ваше положенье все разузнало.

— Пословица есть: „дитя не плачетъ, мать не разумѣетъ“.

— Такъ то про дуръ матерей говорится. Общество! Я по дѣламъ частенько у нашего помѣщика бываю. Онъ все проекты сочиняетъ, а я переписываю, потому что почеркъ имѣю круглый. А онъ сочинять мастеръ, но чтобъ понять было можно, — Богъ не далъ. Такъ зайдешь иной разъ, ждать велятъ, общество у нихъ. Разговоры. Дымъ коромысломъ. „Сколько, напримѣръ, министерство во французской республикѣ продержится?“ Господа наѣдутъ, крикъ, — того гляди, сцѣпятся. И выкладываютъ и выкладываютъ! Про любого французской республики депутата спроси, такого про него выложатъ, чего, можетъ, онъ и самъ-то про себя не знаетъ! А имъ извѣстно! Какъ же такъ, Василь Кузьмичъ? Про любого французскаго депутата всю подноготную знаютъ, а чтобъ узнать, какъ свой учитель

живетъ, имъ еще дефиле нужно. Никакого интереса тутъ я не вижу.

Дѣйствительно, интересуется ли нами общество?

Не у насъ только, но всюду, но вездѣ. Интересуется ли теперешнее буржуазное общество народными учителями?

Нѣмцы говорятъ:

— При Садовой побѣдилъ школьный учитель.

А нѣсколько лѣтъ тому назадъ по какому-то поводу выяснилось, что нѣмецкіе школьные учителя живутъ въ голодѣ, въ холодѣ. Ихъ держатъ въ черномъ тѣлѣ, платятъ гроши. Это не жизнь, это—медленное умиранье.

Нѣмецкіе журналы печатали, а наши перепечатывали картинки: лачуги, въ которыхъ живутъ въ Германіи деревенскіе народные учителя, лохмотья, въ которыхъ они ходятъ. На портреты жутко смотрѣть было: словно изъ голодающихъ мѣстностей.

Еще почище нашего!

Вотъ вамъ и герои-побѣдители!

Общество живетъ относительно насъ романтическими представленіями.

Мы, народные учителя, что-то въ родѣ пожарныхъ.

— Ихъ ужъ дѣло такое, чтобы собой жертвовать!

„Народный учитель“.

— Ахъ! Святое дѣло! Ахъ! Святое слово! Ахъ, эти люди всѣмъ, всѣмъ жертвуютъ! Ихъ и удовольствіе такое, чтобы всѣмъ жертвовать.

Такъ и думаютъ.

Разъ я народный учитель, я только и смотрю кругомъ:

— Куда бы мнѣ собой пожертвовать!

Встаю утромъ, — сахару къ чаю нѣтъ.

— Ахъ, какой счастливый случай! Сахару нѣтъ!! Ахъ, какъ пріятно хоть маленькую жертву принести! Буду пить безъ сахару!

На обѣдъ у меня — жертва. На ужинъ — жертва.

На ногахъ, вмѣсто сапогъ, жертва,

И мнѣ другихъ не нужно! Я и въ жертвахъ похожу!

— Ахъ, сапогъ лопнулъ! Какое счастье! Еще одна жертва на ниву народную!

Вы найдете, быть-можетъ, что въ моихъ словахъ много желчи?

Что же мнѣ дѣлать? Вся Русь залита желчью. Послушайте, — всѣ слова пропитаны желчью. Посмотрите, — всѣ лица полны желчи. Желчь разлилась въ отечествѣ моемъ. Что же я за исключеніе?

— Общество, — говорятъ, — преисполнилось сочувствія къ народнымъ учителямъ!

Отлично.

У общества былъ и способъ реально, наглядно выражать свое сочувствіе.

Существуетъ „общество попеченія о дѣтяхъ народныхъ учителей и учительницъ“ О немъ много говорилось на съѣздѣ.

Что жъ? Хлынулъ туда потокъ пожертвованій отъ общества, охваченнаго симпатіями?

Поймите, что я не милостыни прошу!

Я просто хочу отдѣлить чувство сентиментальности.

Здоровое, настоящее чувство отъ кислой, противной сентиментальности.

Маргаринъ отъ масла.

Чувство сказало бы:

— Ихъ дѣти обречены на нищету. Я могу помочь... Помогу

Сентиментальность проливаетъ слезы:

— Ахъ, они не только себя, они и своихъ дѣтей приносятъ въ жертву! Ахъ, какъ это велико!

И ни съ мѣста...

Потому что чувство диктуетъ:

— Иди и помоги!

Сентиментальность вызываетъ эффектныя и трогательныя представленія. И съ нея довольно.

И эта общественная сентиментальность, разлитая въ воздухѣ, заставляетъ слезы умиленія капать съ Вашихъ перьевъ, гг. публицисты.

Когда сыро въ воздухѣ, каплетъ съ желобовъ.

Эта сентиментальность, разлитая въ воздухѣ, источаетъ у Васъ, гг. представители общественнаго мнѣнія и всеобщей глупости, „прочувствованныя строки".

„Учителя разъѣдутся со съѣзда, унеся въ своей душѣ воспоминаніе о свѣтлыхъ и радостныхъ минутахъ. И сколько разъ тамъ, въ тиши снѣжныхъ сугробовъ, подъ унылое завываніе вьюги вспомнятся имъ эти незабвенные свѣтлые дни, и засвѣтятъ имъ, какъ звѣздочки, какъ маякъ среди непроглядnаго тумана, и согрѣютъ имъ сердце".

Это очень тронуло бы меня своей искренней глупостью, господа, если бы я на одинъ день не задержался въ Москвѣ и не прочиталъ описанія какой-то елки, устроенной дамами-патронессами для дѣтей Хитровки:

„Дѣти вернутся въ свои трущобы, унеся въ душѣ воспоминанія о свѣтлой и радостной елкѣ. И сколько разъ тамъ, во мракѣ и грязи „ночлежки",

подъ пьяную ругань ночлежниковъ, среди общаго ожесточенія кругомъ, вспомнится имъ эта елка, устроенная добрыми людьми, и засвѣтитъ имъ своими огнями, какъ звѣздочка, какъ маякъ среди непроглядnаго тумана, и согрѣетъ имъ сердце".

Вы думали, что я уѣхалъ, господа, и что можно тѣмъ же печатнымъ пряникомъ, который я обмуслилъ уже, угощать другихъ?

А я покупалъ дратву для сапогъ, въ Москвѣ она, думалось мнѣ, дешевле, я обѣгалъ весь городъ, стараясь гдѣ-нибудь выторговать пятачокъ, и опоздалъ на поѣздъ.

И такъ узналъ о вашемъ сентиментальномъ мошенничествѣ.

У васъ это, очевидно, готовый наборъ, господа!

Вы суете всѣмъ въ ротъ одинъ и тотъ же обсосанный ледянецъ для утѣшенія.

Какъ у насъ въ деревняхъ „шпитомцамъ" суютъ всѣмъ одну и ту же грязную соску:

— Чтобъ не плакалъ!

Уберите же ваши обслюнявленные пряники, милостивые государи, сосите сами ваши обмусленные ледянцы, бросьте совать всѣмъ въ ротъ ваши грязныя „утѣшительныя" соски.

Здѣсь, „у себя въ хибаркѣ", какъ любите выражаться вы, подъ нытье вьюги, воющей въ трубѣ, сгорбившись надъ сапогами, которые я, народный учитель, точаю вмѣсто необходимаго мнѣ отдыха, — я, не скажу, чтобы спокойно, — но подвожу теперь, черезъ мѣсяцъ, итоги съѣзду.

Да, результатъ есть.

Результатъ большой моральной важности.

Съѣздъ показалъ, что намъ, народнымъ учителямъ, не на кого сейчасъ надѣяться.

Что ни отъ кого ничего, кромѣ „словъ, словъ, словъ“, намъ ждать нельзя.

Что мы одни, совсѣмъ одни.

— Горькое сознаніе? — умиленно скажете вы.

Но правда!

А „правды нѣтъ и выше“.

Правду знать необходимо.

Я прошу Васъ извинить меня, что письмо вышло немного длинно, быть-можетъ, рѣзко, быть-можетъ, грубо.

Но вы вѣдь не мой инспекторъ. Вѣдь для Васъ, какъ для меня, говоря словами Пушкина:

„Правды нѣтъ и выше!“

Не правда ли?

Всего Вамъ лучшаго.

Вашъ слуга, народный учитель (слѣдуетъ подпись).

О незаконныхъ и о законныхъ, но несчастныхъ дѣтяхъ.

„Если бы между собаками было столько скверныхъ матерей, сколько среди людей, какъ бы мы презирали это животное!“

Изъ дневника.

Теперь беззаконія о незаконнорожденныхъ смѣняются законами, и всякій ребенокъ, рожденъ ли онъ въ бракѣ или внѣ брака, будетъ имѣть право имѣть родителей.

Но это „одна только сторона“ права дѣтей.

Почему, поднимая вопросъ о правѣ отыскивать отца и мать, не поднимутъ вопроса о правѣ избавляться отъ дурныхъ родителей?

Странный вопросъ, скажете вы. Но пока жизнь складывается иногда странно, она выдвигаетъ и странные вопросы.

Я получилъ слѣдующее письмо:

„М. Г.! 35 лѣтъ я нахожусь въ томъ самомъ положеніи незаконнорожденнаго, о которомъ теперь такъ много говорятъ, и жизнь сдѣлала меня компетентнымъ въ этомъ вопросѣ. Я буду говорить только о дурныхъ матеряхъ, потому что въ этой области спеціализировала меня жизнь. То обстоятельство, что я пишу вамъ, совершенная случайность и зависитъ отъ судеб-

наго пристава. 35 лѣтъ тому назадъ женщина, которая меня родила, выздоровѣвъ отъ родовъ, уѣхала въ другой городъ. Кормилица, которой, можетъ-быть, не было и заплачено, ушла къ пожарнымъ. И если бы судебный приставъ, явившійся въ это время для описи имущества по долгу, не выломалъ, на основаніи закона, дверей, 35 лѣтъ тому назадъ однимъ „усопшимъ младенцемъ имярекъ“ было бы больше, и вы не получили бы этого письма.

Одинъ изъ присутствовавшихъ при описи, въ качествѣ свидѣтеля, сосѣдей взялъ брошеннаго маленькаго обкричавшагося человѣчка и отнесъ его къ себѣ домой, къ женѣ. Они были бездѣтны, имъ стало жаль ребенка, и они почему-то полюбили его.

Да будетъ благословенна святая память этой женщины, отдавшей жизнь чужому ребенку, которую я съ благоговѣніемъ называю своею матерью, потому что „не та мать, которая родила, а та, которая вспоила и вскормила“.

Я жилъ у своихъ „родителей“, не думая, что когда, нибудь мнѣ придется ставить это слово въ казычки-жилъ, какъ родной сынъ, жилъ, какъ приходится жить не всякому родному сыну. Мнѣ не могло въ голову прійти, что я не ихъ сынъ. Не могло, если бъ иногда не звучало какой-то странной ноты, когда на меня сердилась нянька, горничная, кухарка.

— Туда же привередничаетъ!

Такъ я не слыхалъ, чтобъ разговаривали съ другими дѣтьми. Какая-то странная нота была въ этихъ словахъ, которая меня поражала тогда, и которую я словно слышу до сихъ поръ. Меня звали фамиліей моихъ родителей. Когда меня маленькаго въ шутку назы-

вали по отчеству, всегда за моимъ именемъ произносили имя того, кого я звалъ „папой“. Меня всѣ кругомъ считали ихъ сыномъ, и только черезъ прислугу, между тѣмъ, распространялась моя тайна.

Общественное мнѣніе! Какъ часто оно питается отбросами, которые подбираетъ въ кухняхъ! И съ „общественнымъ мнѣніемъ“ я встрѣтился въ школѣ.

Не одолѣвъ меня въ дракѣ, разозленный товарищъ крикнулъ мнѣ:

— Подкидышъ!

И, увидавъ, что всѣ кругомъ расхохотались и посмотрѣли на меня съ презрѣніемъ, я съ удивленіемъ спросилъ:

— А что такое „подкидышъ“?

Я не зналъ даже этого слова. При мнѣ, понятно, избѣгали его произносить.

— Сами вы подкидыши!—крикнулъ я, и это вызвало новый, еще сильнѣе, хохотъ.

— Ну, ужъ это-то ты врешь!—и меня поколотили за то, что я кричалъ:

— Нѣтъ, вы подкидыши! Подкидышъ!

Придя домой, я спросилъ:

— Мама, что такое подкидыши?

Она поблѣднѣла и схватила меня за голову:

— Кто тебѣ это сказалъ?

— Мальчики.

— Никогда не повторяй этого. Это нехорошее слово.

Она почему-то заплакала и начала меня цѣловать.

Кругомъ происходило что-то странное. Я зналъ, что въ Петербургъ отправили какую-то бумагу. Объ этомъ говорили. Ко мнѣ стали ходить незнакомые люди.

— Адвокаты!—почтительно сообщала горничная.

Запирались въ кабинетъ. О чемъ-то долго говорили. Выходя изъ кабинета, незнакомые люди гладили меня по головѣ, спрашивали:

— Этотъ?..

Мать цѣловала меня чаще и, цѣлуя, плакала. Ко мнѣ относились съ какой-то особенной нѣжностью, словно къ больному! Словно жалѣлъ меня кто-то за что. На завтракъ мнѣ давали особенно много и все мое любимое.

Когда я приносилъ дурныя отмѣтки, мнѣ только говорили; „ты долженъ учиться хорошо“, и не бранили меня.

„Словно я умру!“ думалъ я и начиналъ плакать.

Когда раздавался звонокъ, меня, прежде чѣмъ открыть дверь, поспѣшно уводили въ дальнія комнаты, словно прятали. А иногда вдругъ наскоро, торопливо кутали и посылали съ человѣкомъ гулять, хотя я и говорилъ:

— Мнѣ не хочется!

— Иди! Иди!

Мы уходили, словно бѣжали, по черному ходу, и всякій разъ въ такихъ случаяхъ я видѣлъ, что у нашихъ воротъ стоитъ очень хорошій извозчикъ.

Меня водили гулять очень долго, и мы возвращались только тогда, когда извозчика у воротъ уже не было.

Мама всегда встрѣчала меня очень разстроенная, по большей части заплаканная, цѣловала, прижимала къ груди, словно я пропадалъ и неожиданно вернулся къ ней.

Однажды, когда мы обѣдали, раздался звонокъ, и прежде чѣмъ меня успѣли увести, въ столовую вошла

какая-то дама, очень нарядная; увидѣвъ меня, улыбнулась, сказала:

— Какой онъ большой!

И поцѣловала.

Какое-то странное волненіе, въ которомъ я до сихъ поръ не могу дать себѣ отчета, овладѣло мной при видѣ этой дамы.

Къ намъ ходило много дамъ, которыя меня знали совсѣмъ маленькимъ, и которыхъ въ лицо я не помнилъ, онѣ всегда говорили одно и то же: „Какой онъ большой!“ и цѣловали меня. Въ этомъ не было ничего особеннаго, но на этотъ разъ...

Лицо моей матери побѣлѣло, какъ полотно. Мнѣ почему-то сдѣлалось страшно, я крикнулъ „мама!“, бросился къ ней, меня схватили и утащили, не давши даже еще разъ взглянуть на нарядную даму.

Когда мы выходили, у воротъ стоялъ тотъ же самый хорошій извозчикъ, котораго я видѣлъ всегда, когда меня спѣшно уводили гулять.

На этотъ разъ человѣкъ водилъ меня гулять особенно долго. Мы вернулись, когда уже было совсѣмъ темно.

Мама меня встрѣтила съ рыданьями и еще никогда такъ не цѣловала. Отецъ взялъ за руку, увелъ въ дѣтскую, поцѣловалъ, сказалъ:

— Сиди тутъ. Съ мамой дурно

Я слышалъ, какъ бѣгала прислуга, носили воду, искали спиртъ, я слышалъ, какъ мама рыдала, и сквозь закрытыя двери до меня доносилось:

— Не отдамъ.

Вечеромъ у меня открылся жаръ, бредъ. Я впалъ въ безсознательное состояніе. Когда я очнулся, была

ночь, въ дѣтской горѣла лампадка, на постели у меня сидѣла мама и плакала.

И вотъ самъ не знаю ужъ почему, но я вдругъ вскочилъ и закричалъ:

— Мама, мама, скажи, твой я сынъ?

Я цѣловалъ ея руки и молилъ:

— Мама, твой я сынъ?

— Что ты? Что ты?—испуганно шептала она, бросаясь на колѣни, обнимая меня.

И мы, обнявшись, рыдали, цѣловали другъ друга.

И я рыдалъ, чувствуя, что какая-то страшная скорбь наполняетъ мою душу, и что-то страшное-страшное надвигается на меня и на маму.

Я потомъ не задавалъ матери этого вопроса. Мнѣ было страшно его задать. Эта дѣтская, этотъ свѣтъ лампады, стоящая на колѣняхъ и цѣлующая мои руки, словно прощенья въ чемъ-то просящая, мать, я съ тѣхъ поръ помню это, я никогда не забуду этого...

Я поправлялся туго. И когда началъ вставать и ходить по комнатѣ въ одинъ, поистинѣ прекрасный день, какой-то вихрь радости налетѣлъ на нашъ домъ.

Отецъ, мать меня обнимали, цѣловали. Прислуга плакала и цѣловала мнѣ руки. Всѣ меня словно съ чѣмъ-то поздравляли, но не говорили этого слова. А мать, когда вбѣжала въ то утро въ мою комнату, прижала меня къ себѣ такъ, что мнѣ даже стало больно, безумно цѣловала и говорила:

— Мой, мой теперь.

Въ этотъ день была получена бумага изъ Петербурга.

Въ нашемъ миломъ домѣ стало весело. Тайный страхъ чего-то, который былъ разлитъ въ воздухѣ.

исчезъ. При звонкахъ никто не вздрагивалъ. Меня никто торопливо не уводилъ изъ дома чернымъ ходомъ. И той нарядной барыни больше никогда не появлялось.

Потомъ я узналъ, конечно, все.

Эта женщина пріѣзжала за тѣмъ, чтобъ взять меня. Какой-то лавочникъ, говорила она, хочетъ взять меня въ услуженіе и предлагаетъ ей деньги.

Похоронивъ святую женщину, которую я съ дѣтства называлъ матерью, и разбираясь въ документахъ, я нашелъ нотаріальную бумагу, подписанную той же фамиліей, которая значится въ моемъ метрическомъ свидѣтельствѣ въ строкахъ:

— Родился у такой-то.

Въ этой нотаріальной бумагѣ было сказано, что она, получивъ такую-то сумму, отдаетъ меня въ полную собственность такимъ-то и обязуется никакихъ правъ на меня не заявлять.

Но что бы значило это нотаріальное удостовѣреніе торга на ребенка, если бы не та бумага, которой такъ ждали изъ Петербурга, и которая такой радостью наполнила всѣхъ: это былъ актъ объ узаконеніи.

Мать могла воскликнуть въ то утро въ первый разъ за десять лѣтъ:

— Онъ мой теперь!

По имени и по правамъ съ этимъ узаконеніемъ я принадлежалъ тѣмъ, кто меня больше чѣмъ родилъ, кто сдѣлалъ меня человѣкомъ.

Такъ мы, незаконнорожденные, или какъ теперь зовутъ „внѣбрачные“,—чѣмъ это лучше?..—съ актомъ узаконенія перестаемъ быть собственностью той самки, которая насъ произвела на свѣтъ.

Эта самка теряетъ на насъ права. Не то съ законными, но такими же несчастными дѣтьми.

Я чувствую себя должнымъ, и то, что я долженъ, это—жизнь.

Мнѣ дали жизнь, и я долженъ жизнь міру, въ которомъ водятся добрые люди. Мой долгъ предъ памятью моихъ пріемныхъ отца и матери—взять ребенка, такого же брошеннаго, какъ я, и воспитать его, какъ сына.

И у меня уже былъ бы ребенокъ, мальчикъ лѣтъ восьми, если бы онъ не былъ законнымъ сыномъ тѣхъ, кто его родилъ.

Это было три года тому назадъ. Я встрѣтилъ пятилѣтняго мальчика, милаго, прелестнаго, нелюбимаго своими родителями.

Они были моими сосѣдями, и весь домъ возмущался ихъ гнуснымъ отношеніемъ къ ребенку. Особенно отношеніемъ матери. Къ сожалѣнію, не было ничего уголовнаго въ ихъ поступкахъ. Съ какимъ бы наслажденіемъ я посадилъ бы ихъ въ тюрьму, съ какимъ восторгомъ я платилъ бы самымъ искуснымъ адвокатамъ, чтобы сдѣлать это, и сталъ бы подкупать ихъ сторожей, чтобы они похуже съ ними обращались.

Но, къ сожалѣнію, ничего уголовнаго не было въ ихъ поступкахъ. По крайней мѣрѣ, ничего нельзя было доказать. Они били несчастнаго ребенка, но это не было еще „истязаніемъ“, которое требуется по закону. Они только на каждомъ шагу мучили, оскорбляли несчастнаго ребенка, лишали его всѣхъ радостей жизни и говорили:

— Чтобъ ты поскорѣе сдохъ, проклятая гадина!

Они морили его голодомъ, давали какія-то кости, его однажды высѣкли за то, что онъ укралъ молоко у котятъ. Онъ валялся гдѣ-то въ темномъ чуланѣ. Изъ-за отрепьевъ, въ которыхъ онъ ходилъ, съ нимъ не хотѣлъ никто играть.

Но вѣдь это все еще не уголовщина. Я звалъ его къ себѣ играть и получалъ истинное удовольствіе, кормя его вкусными вещами. Мнѣ все нравилось въ немъ: улыбка, голосъ, взглядъ. Каждое слово, сказанное имъ, казалось мнѣ необычайнымъ. Каждое его желаніе — милымъ.

И когда я черезъ два мѣсяца этихъ нашихъ тайныхъ свиданій, — тайныхъ потому, что родителей „оскорбляли“ заботы постороннихъ объ ихъ сынѣ, когда я спросилъ себя:

— Что мнѣ этотъ мальчикъ?

Я долженъ былъ отвѣтить себѣ, что я люблю его безъ ума. Такъ, вѣроятно, любятъ только своихъ дѣтей.

Взять?.. Но вѣдь онъ „законный“ ребенокъ. Его нельзя узаконить безъ желанія родителей Нѣтъ такого акта, съ помощью котораго кончалась бы ихъ власть надъ этимъ человѣкомъ.

Воспитывать при себѣ, полюбить, какъ родного сына и каждую минуту ждать, что вотъ-вотъ придутъ люди и отнимутъ вашего ребенка.

Нѣтъ, это слишкомъ страшно.

Вспомните эти сотни процессовъ между обзаконенными самками, случайно родившими, и истинными матерями, отдавшими ребенку всю свою жизнь.

Вдругъ онѣ предъявляютъ искъ объ истребованіи ребенка.

— Но я ему дала то-то и то-то! — говоритъ мать.

— Что жъ, и я ему дамъ воспитаніе, соотвѣтствующее моимъ средствамъ,— отвѣчаетъ самка.

Онѣ такъ поступаютъ изъ шантажа, просто изъ злости.

И законъ на ихъ сторонѣ. И судьи, скрѣпя сердце, присуждаютъ ребенка отвратительному существу, когда-то отказавшемуся отъ своего ребенка.

Законъ охраняетъ ихъ, этихъ тварей, которыя осквернили Церковь и благословенье Бога, которыя ходили вокругъ аналоя, чтобы на законномъ основаніи предаваться любострастью или жить на содержаніи у мужа.

Вы должны извинить меня, если я говорю съ такой горячностью о дурныхъ матеряхъ. Жизнь сдѣлала это. И когда я думаю о дурныхъ матеряхъ, мнѣ кажется, что я могъ бы быть и палачомъ.

Тысячи процессовъ кончаются въ пользу этихъ тварей и всегда во вредъ дѣтей. Несчастныхъ, несчастныхъ дѣтей.

Бѣдный ребенокъ, о которомъ я говорю, былъ судьбою избавленъ отъ дальнѣйшихъ мученій и сквозь туманную даль глядѣвшей на него печальной жизни.

Онъ умеръ. За нимъ не смотрѣли, онъ схватилъ воспаленіе легкихъ и скончался

Онъ умеръ, но остались тысячи и тысячи законныхъ дѣтей, нелюбимыхъ, пасынковъ, падчерицъ, которые слышатъ, какъ слышалъ онъ ежеминутно:

— Хоть бы ты околѣлъ!

И которыхъ нельзя взять, которыхъ никто не возьметъ, потому что вѣчно будетъ стоять вопросъ:

— А придутъ и отнимутъ?

Потому что законныхъ дѣтей брать за своихъ и узаконять безъ согласія родителей нельзя.

— Узаконеніе посторонними законныхъ дѣтей, — но это нарушаетъ всѣ юридическія нормы и формы!— скажутъ гг. юристы.

Я думаю, что не жизнь должна итти за юриспруденціей, а юриспруденція итти за жизнью, какъ наемница за своей госпожой.

Пусть отыскиваютъ новыя нормы и новыя формы гг. юристы, которыхъ мы держимъ для нашего блага, для нашихъ удобствъ.

Ребенокъ — вотъ первое лицо въ обществѣ. И пусть не будетъ онъ въ полной кабалѣ у дурныхъ родителей, кто бы ни были эти родители: незаконные или законные, но гнусные.

Это великое дѣло—дать ребенку право отыскивать своихъ родителей.

Но дайте ему, дайте другимъ, любящимъ его, за него отыскивать это право: избавиться отъ гнусныхъ родителей.

Пусть ребенокъ не будетъ собственностью низкой твари, — обзаконила или не обзаконила эта тварь свое „сожительство“.

Таково полученное мною письмо.

Компетентное мнѣніе.

Я получилъ слѣдующее письмо:

Милостивый государь!

Съ большимъ интересомъ, удовольствіемъ и смѣхомъ я читаю жалостныя статьи:

— Ахъ, бѣдные незаконнорожденные!

Вотъ уже 36 лѣтъ 10 мѣсяцевъ и 19 дней, какъ я состою обладателемъ документа:

— Изъ московской духовной консисторіи выдано сіе въ томъ, что въ метрической книгѣ московской Николаевской, что на Пупышахъ, церкви, 1865 года, въ статьѣ о родившихся № 7 писано: генваря пятаго дня у г-жи такой-то незаконно родился сынъ имярекъ...

Вотъ онъ лежитъ передо мной, этотъ документъ, пожелтѣвшій, истрепанный.

Словно стершіеся кандалы каторжника, словно старая, проклятая тачка приговореннаго къ прикованію тачечника.

Ну, старый пріятель, поговоримъ!

Ну, мой „позорный столбъ“, у котораго я простоялъ 36 лѣтъ 10 мѣсяцевъ и 19 дней,—вспомнимъ!

Дѣйствительно ли ты заставилъ меня столько страдать?

Клянусь, что на тебя лично мнѣ жаловаться не за что.

Въ одинъ прекрасный день меня пригласили въ полицію.

Господинъ участковый приставъ, полный и важный, сказалъ мнѣ строго и величественно:

— По метрическому свидѣтельству жить нельзя. Вы должны приписаться.

Я пошелъ въ мѣщанское общество. И провелъ вечеръ не безъ удовольствія.

Сначала шли дѣла общественныя.

Гг. мѣщане упрекали другъ друга въ кражѣ общественныхъ денегъ.

Потомъ пошли дѣла арестантскія:

— Принимать или нѣтъ обратно въ общество того или другого, опороченнаго по суду?

Однихъ мѣщане рѣшали:

— Шутъ съ ними. Принимаемъ!

Другихъ:

— Пусть идетъ на поселеніе!

Когда „арестантскія“ дѣла кончились, началась пріемка лицъ, желающихъ вступить въ общество.

Гг. мѣщане зашумѣли, загалдѣли.

Съ меня требовали:

— Сто рублей за приписку! Меньше ни копейки!

Я стоялъ на пятнадцати.

— Ну, семьдесятъ пять! Дай семьдесятъ пять-то!

Поторговались - поторговались и сошлись на двадцати рубляхъ.

Я сталъ мѣщаниномъ города такого-то, легальнѣйшимъ существомъ.

И все.

И съ тѣхъ поръ я могъ спрятать тебя въ портфель и хранить только для себя, какъ пріятный сувениръ.

Мой старый другъ, мой истрепанный товарищъ,— ты былъ только одинъ разъ немножко свиньей ко мнѣ.

Въ отношеніи военной службы.

Ты не давалъ мнѣ никакихъ льготъ по семейному положенію.

— Отбояривайся, какъ знаешь.

Будь я старшимъ сыномъ, будь я единственнымъ сыномъ „г-жи такой-то“, все равно:

— Иди въ солдаты!

Но по твоимъ протершимся сгибамъ пробѣгаетъ улыбка, мой истрепавшійся другъ:

— Зато я не обязываю тебя кормить „г-жу такую-то“.

Ты не даешь мнѣ никакихъ правъ, но ты не налагаешь на меня и никакихъ обязанностей.

У меня нѣтъ, не можетъ быть никакихъ братьевъ, сестеръ, отцовъ, матерей, тетушекъ, бабушекъ.

Никого!

Я ни къ кому не имѣлъ права обратиться въ трудную минуту.

Но и ко мнѣ не смѣетъ явиться никто:

— Я родственникъ!

— Я родственница!

Я выну тебя, мой пожелтѣвшій документъ, мой патентъ на свободу:

— У меня не можетъ быть никакихъ родственниковъ! „Незаконно“.

Если у меня будетъ что-нибудь, я могу распорядиться, какъ я хочу.

Никакая троюродная каналья не можетъ явиться оспаривать мое духовное завѣщаніе.

Ничьей опеки! Ничьего вмѣшательства! Ни къ кому обязанностей!

„Клеймо“, я люблю тебя, какъ привлегію на свободу.

Какія непріятности ты причинялъ мнѣ, мой забавный документъ?

А причинялъ!

Когда надо было отдавать тебя дворнику для прописки.

Положеніе было прекурьезное.

Переѣзжая на новую квартиру, я долженъ былъ разсказывать неприличный анекдотъ о моей матери.

Такъ сказать:

— А знаете ли... моя матушка... того... согрѣшила!

Старшій дворникъ бралъ документъ, шелъ къ себѣ въ каморку, вооружался очками, читалъ:

— У г-жи такой-то... не-за-кон-но... ро-дил-ся...

И, быть-можетъ, усмѣхался.

Но это было рѣшительно все равно.

„Г-жи такой-то“, которую диффамировалъ документъ, дворникъ не зналъ. А что касается меня, то за двугривенный онъ кланялся мнѣ какъ самому законнорожденному

Тебя зовутъ „трагическимъ документомъ“, пріятель. Но повлекъ ли ты за собой хоть одну трагедію?

Одну—да.

Это было, когда умиралъ мой отецъ.

Около него стояла его жена, законныя дѣти.

А онъ, говорятъ, томился и говорилъ гаснущимъ голосомъ:

— Не всѣ... не всѣ...

Незаконнаго не было. Незаконный не имѣлъ права войти.

Да если бы и вошелъ,—не велика радость!

Моего отца звали Иваномъ, меня зовутъ по отчеству Петровичемъ. Фамилія моего отца была Иксъ, моя—Игрекъ.

Если бы мой отецъ пришелъ и сказалъ:

— Запишите ребенка на меня. Онъ мой. Я хочу, чтобъ онъ носилъ мое имя.

Ему бы отвѣтили:

— Невозможно.

Мой отецъ былъ мѣщанинъ.

— Почему же я не могу передать моему сыну моего званія?

— Потому, что невозможно, чтобъ титулы графовъ, барономъ, князей передавались незаконнымъ дѣтямъ.

У моего отца ничего не было.

— Почему же я не могу дать правъ своему ребенку?

— А потому, что есть богатые люди, и ихъ законныя дѣти могутъ потерпѣть при такихъ порядкахъ!

Такъ, мѣщанамъ нельзя признавать своихъ дѣтей, потому что на свѣтѣ есть графы, бароны и князья.

Бѣднякъ долженъ быть лишенъ родительскаго права, потому что на свѣтѣ есть богатые люди.

Законъ охраняетъ титулъ графовъ, князей и барономъ, наслѣдства богачей—и для этого лишаетъ самыхъ законныхъ, самыхъ естественныхъ правъ крестьянъ, мѣщанъ, ремесленниковъ.

Какъ будто нельзя просто сдѣлать какихъ-нибудь изъятій для титула!

Иди обратно въ портфель, мой старый, обветшалый другъ.

Твое „ужасное“ значеніе ей Богу преувеличиваютъ!

Я, протаскавшій тебя 36 лѣтъ, не могу на тебя пожаловаться.

Ты мнѣ не причинилъ никакихъ непріятностей. Ты мирно лежалъ въ портфелѣ.

Что въ тебѣ написано, извѣстно мнѣ, небесамъ да дворникамъ.

Но вотъ общество, то самое общество, которое вопитъ:

— Ахъ, бѣдненькіе незаконнорожденные!

Оно причинило мнѣ въ дѣтствѣ слезы, въ юности огорченіе, теперь возбуждаетъ мое презрѣніе.

Дворники, для которыхъ слово „незаконнорожденный“ позорно, получали двугривенный и молчали.

Общество, для котораго „въ словѣ незаконнорожденный, конечно, нѣтъ ничего, ничего позорнаго“, шушукалось, шепталось, передавало эту сплетню.

Это слово я читалъ не въ документѣ — документъ былъ спрятанъ въ портфелѣ, — я читалъ его въ вашихъ глазахъ, господа.

— Вы знаете?.. Онъ...

И это меня злило, бѣсило, какъ теперь возбуждаетъ во мнѣ къ вамъ презрѣніе.

Вы кричите:

— Ахъ, уничтожьте этотъ безсмысленный терминъ въ документѣ!

Да на кой же шутъ вы-то, вы придаете такое значеніе „безсмысленному термину“?

— Уничтожьте въ документѣ, и прекратится въ жизни.

Вы, кажется, и отъ предразсудковъ хотите освободиться черезъ участокъ?

Почему не привести этого „компетентнаго мнѣнія“ заинтересованнаго лица?

О немъ говорятъ.

Значитъ и онъ имѣетъ право голоса.

Право отца.

Герой дня...

У него ни одного зуба, почти ни одного волоса.

Но это не балетоманъ. Это обыкновенный младенецъ.

Ему всего нѣсколько минутъ отроду.

Ему только что отрѣзали пуповину, и акушерка дала ему хорошаго шлепка, чтобъ онъ подалъ голосъ.

Младенецъ заоралъ благимъ матомъ.

И въ ту же минуту къ нему приближается компанія очень важныхъ и очень почтенныхъ людей.

На лицахъ однихъ написана суровость и непреклонность. На лицахъ другихъ—кротость и мягкость. Есть даже такой, который почему-то хнычетъ.

— Какъ его заклеймить?

Люди съ непреклонностью на лицѣ говорятъ:

— Незаконнорожденнымъ! Поставимъ ему эту печать.

Люди, на лицѣ которыхъ написана кротость, мягко возражаютъ:

— Ну, зачѣмъ „незаконнорожденный“? Поставимъ просто „внѣбрачный“ Какъ-то мягче, пріятнѣе, музыкальнѣе! „Незаконнорожденный“—точно ударъ барабана, „внѣбрачный“—словно меланхолическій свистъ

флейты. Ей Богу заклеймимъ его „внѣбрачнымъ“ Нѣжно и музыкально!

Всхлипывающій господинъ протискивается впередъ, всплескиваетъ руками и начинаетъ какъ-то умиленно и восторженно кривляться.

— Младенчикъ ты мой радостный! Ангельская твоя душенька! Личико-то! Личико! Словно печеное яблочко! Съѣсть тебя хочется! Ножками-то, ножками, апельсинчикъ, такъ и сучитъ, такъ и сучитъ!

Читатели, можетъ-быть, узнали уже въ хныкающемъ господинѣ извѣстнаго философа г. Розанова.

Г. Розановъ приставляетъ палецъ ко лбу и очень глубокомысленно говоритъ:

— Гмъ... Заклеймите вы его „незаконнорожденнымъ“ или „внѣбрачнымъ“, собственно говоря, все одно! Одинаково обидно. И всякій пойметъ, въ чемъ дѣло. А вотъ что...

Тутъ г. Розановъ дѣлаетъ лицо еще глубокомысленнѣе:

— Поставимъ-ка на него клеймо по-латыни: „Liber extra jure canonico“ Ни одинъ чортъ не пойметъ, въ чемъ дѣло! А потому и не обидно!

— По-латыни-то не поймутъ? Экъ, куда хватили! А еще философъ считаетесь!

— Что жъ! Теперь классицизмъ упраздняется! Скоро никто понимать не будетъ! — сконфуженно говоритъ г. Розановъ.

— Нѣтъ-съ, господа! Дѣлать, такъ дѣлать! — вступаетъ въ разговоръ самый гуманный и самый либеральный изъ собесѣдниковъ. — Ставить клеймо, такъ ужъ не по-латыни, которую, къ сожалѣнію, многіе понимаютъ. А по-китайски-съ! Вотъ когда ни одинъ

дьяволъ ничего не разберетъ! Поставить штемпель такой — китайскій знакъ. Шутъ его знаетъ, что онъ обозначаетъ! Не то слово, не то просто бородка ключа отъ какого-нибудь „cabinet noir“!

Не кажутся ли вамъ эти разговоры о томъ, какъ надо клеймить незаконнорожденныхъ, немного забавными?

Какъ „надо клеймить“?

Когда-то просвѣщеннѣйшіе и гуманнѣйшіе люди точно такъ же разрабатывали вопросъ:

— Какъ лучше клеймить каторжнымъ лица: каленымъ желѣзомъ или насѣчками съ тонкими иглами.

Я боюсь, что люди, въ добротѣ душевной разсуждающіе, какъ клеймить, никогда не видали самаго клейма.

Метрическаго свидѣтельства незаконнорожденнаго.

Пишутъ просто:

„Въ метрическихъ книгахъ церкви такой-то, въ отдѣлѣ о родившихся, за № такимъ-то, записано: у дѣвицы, имярекъ, родился ребенокъ такого-то пола“...

„У дѣвицы родился“.

Довольно!

Можете титуловать его:

— Незаконнорожденный!

Или, какъ выражался Петръ Ивановичъ Добчинскій:

— Рожденъ внѣ брака, по совсѣмъ такъ, какъ бы и въ бракѣ.

Пишите такъ, какъ нравится больше г. Розанову:

— Liber extra jure canonico!

Жизнь все равно переведетъ эту латинскую фразу русскимъ словомъ:

— Байструкъ.

И онъ будетъ „байструкомъ“ не только въ глазахъ людей, среди которыхъ много и непросвѣщенныхъ, но и въ глазахъ закона, который долженъ быть просвѣщеннымъ.

Дѣло не въ томъ, какое слово музыкальнѣе —„незаконнорожденный“ или „внѣбрачный“, а въ томъ:

— Нельзя ли, чтобы сынъ мой, рожденный внѣ брака, но совсѣмъ какъ въ бракѣ, назывался, какъ и я, Добчинскимъ?

И И. А. Хлестаковъ разрѣшилъ этотъ вопросъ совершенно правильно:

— Пусть называется.

Никакихъ основаній нѣтъ къ тому, чтобы не назывался.

Женщина, съ которой я живу „внѣ брака, но совсѣмъ какъ бы и въ бракѣ“, родитъ мнѣ ребенка.

Я являюсь и прошу:

— Запишите, что отецъ я.

И послѣ клеймящихъ словъ:

„У дѣвицы такой-то“...

Пишутъ:

„И у такого-то родился ребенокъ“ и т. д.

И ребенокъ не безъ имени, не безъ правъ. У ребенка права и мое имя.

Поступить такъ—мое право. Моя обязанность.

И не мѣшайте мнѣ исполнить священную обязанность предъ Богомъ и своей совѣстью, предъ женщиной и предъ ребенкомъ.

„Внѣбрачное сожитіе“ — грѣхъ и преступленіе.

Отлично.

Пусть понесутъ кару и отъ духовнаго и отъ свѣтскаго начальства обѣ преступныя стороны.

Но пусть не страдаетъ третье, ни въ чемъ неповинное существо:

— А какъ же пенсіонный уставъ?

— Замѣчательно. Каждый разъ, какъ заходитъ рѣчь объ узаконеніяхъ, усыновленіяхъ, всегда выдвигается на первый планъ пенсіонный уставъ.

Словно внѣбрачному сожитію предаются исключительно люди, состоящіе на казенной службѣ!

Пенсіи, кромѣ немногихъ счастливцевъ, получаются грошовыя. А изъ-за этихъ грошей столько разговоровъ.

Внесите въ пенсіонный уставъ:

— Пенсіи могутъ наслѣдоваться только дѣтьми, рожденными отъ законной жены.

Слава Богу, и кромѣ грошовой пенсіи, есть на свѣтѣ права, изъ-за которыхъ стоитъ биться.

Вѣдь не одни же негодяи имѣютъ незаконныхъ дѣтей.

Тысячи и тысячи отцовъ скажутъ: „Нынѣ отпущаеши“, когда имъ предоставлено будетъ право явиться и объявить себя отцомъ своего ребенка.

Не возиться потомъ съ усыновленіями, а здѣсь же, прямо, съ мѣста дать своему ребенку имя и права.

— Сынъ такого-то.

Тысячи и тысячи отцовъ съ радостью пойдутъ заявить. Пусть даже подвергаютъ за это церковному покаянію.

Зато мой ребенокъ имѣетъ имя и права.

Какія пагубныя послѣдствія можетъ имѣть такой порядокъ, естественный, простой и нравственный?

Женщины легче будутъ вступать во внѣбрачное сожительство?

Но женщину отъ такого сожительства удерживаетъ обыкновенно не столько вопросъ объ имени будущихъ дѣтей, сколько потеря собственнаго добраго имени.

Что она пріобрѣтаетъ съ такимъ порядкомъ?

У дѣвицы такой-то и такого-то родился ребенокъ.

Вѣдь она же не пріобрѣтаетъ имени Добчинской. Это ребенокъ только именуется, какъ ему и слѣдуетъ именоваться, Добчинскимъ

Если позоръ такъ важенъ въ дѣлѣ нравственности!

Позоръ всей тяжестью будетъ продолжать лежать на несчастной.

Только хоть какъ мать, она будетъ спокойнѣе.

И въ святѣйшемъ изъ чувствъ, чувствѣ матери, не будетъ оскорблена.

— А чрезъ то уменьшатся права рожденныхъ въ бракѣ дѣтей. Напримѣръ, при дѣлежѣ наслѣдства.

Что жъ дѣлать.

Всякій въ законномъ бракѣ рожденный ребенокъ много-много лѣтъ находится въ той же опасности.

Всякій день грозитъ ему потерей половины будущаго состоянія.

А вдругъ появится еще одинъ законный ребенокъ!

Всякій день половина будущаго наслѣдства стоитъ на картѣ.

Пока родители не будутъ достаточно „ветхи деньми“.

Почему же защищать ребенка отъ однихъ сонаслѣдниковъ и не защищать отъ другихъ?

Тогда ужъ надо издать законъ:

— Во избѣжаніе слишкомъ мелкаго дѣлежа наслѣдства и для поддержанія правъ первородства, строжайше воспрещается имѣть въ бракѣ больше такого-то числа дѣтей.

Но тѣ, кто не захочетъ явиться и объявить:

— Этотъ ребенокъ мой.

Съ тѣми какъ?

Для тѣхъ остается судъ.

Тотъ же самый судъ, который и теперь рѣшаетъ:

— Этотъ ребенокъ вашъ!

И обязываетъ отца выдавать на содержаніе незаконнаго ребенка.

Только тогда судъ будетъ обязывать отца дать ребенку еще и имя.

Тысячи испуганныхъ глазъ:

— А сколько злоупотребленій будетъ тогда?!

Если вы будете бояться, что какимъ-нибудь закономъ злоупотребятъ, вы не издадите никогда ни одного закона.

Въ то самое время, какъ въ Петербургѣ обдумываютъ какой-нибудь новый законъ, „отъ финскихъ хладныхъ скалъ до пламенной Колхиды“ въ каждомъ городкѣ десятки головъ работаютъ надъ вопросомъ:

— Какъ бы этимъ закономъ злоупотребить?

Законъ — какъ деньги.

Нельзя выдумать такого новаго образца денегъ, чтобы черезъ нѣсколько дней не появилось поддѣлокъ.

Злоупотребленія судомъ, оглаской вѣдь случаются и сейчасъ.

Вопросъ о незаконнорожденныхъ — вопросъ какой-то кривобокій.

Говорятъ только объ одной изъ его сторонъ.

О правѣ матери.

Но есть еще и право отца.

Тоже священное, тоже налагающее обязанности, тоже дающее права.

Предоставьте отцу право заявить:

— Это мой ребенокъ.

Это первый шагъ, который долженъ быть сдѣланъ въ вопросѣ „о внѣбрачномъ сожитіи и проистекающихъ отъ того послѣдствіяхъ“.

Кандидаты.

— Подсудимый, сколько вамъ лѣтъ?

— Девятнадцать.

„Весь Петербургъ говоритъ объ убійствѣ 17-лѣтнимъ мальчикомъ своего 16-лѣтняго товарища. Преступленіе совершено съ цѣлью грабежа“.

„Въ ночь съ такого-то на такое-то число въ меблированныхъ комнатахъ X найденъ застрѣлившимся молодой человѣкъ У, 18 лѣтъ отроду“.

Мнѣ кажется, что это недурная тема для фельетона.

Когда я сижу съ молодымъ человѣкомъ и онъ предлагаетъ мнѣ „выпьемъ!“—я всегда задаю вопросъ:

— За что?

Когда же и произносить тосты, какъ не въ ранней молодости, когда еще думаешь, что отъ слова „что-нибудь да станется“? На это обыкновенно молодой человѣкъ пожимаетъ плечами:

— Какъ за что? Просто выпьемъ! Развѣ нельзя выпить просто, а непремѣнно надо выпить „за что-нибудь“? Глупая сентиментальность! Да и за что, собственно говоря, стоитъ пить?

За что?

Я, напримѣръ, милостивый государь, когда былъ въ вашемъ возрастѣ, пилъ... за французскую республику.

Это было въ тѣ времена, когда проектовъ объ облагодѣтельствованіи всего человѣчества было столько же, сколько второклассниковъ. У каждаго второклассника былъ собственный проектъ,—и у меня тоже.

Затѣмъ я отчаялся въ томъ, что мнѣ придется дожить до исполненія моихъ завѣтныхъ плановъ, и отравился.

Проглотивъ, однако, растворъ изъ двухъ коробковъ фосфорныхъ спичекъ, я испугался при мысли, какъ огорчитъ это мою маму, побѣжалъ немедленно въ аптеку и вернулся домой живой и здоровый, хоть и глубоко презирая себя.

— Тебѣ ли, жалкому, презрѣнному трусу, не сумѣвшему сдѣлать даже такой пустяковины, какъ покончить съ собой, тебѣ ли мечтать о великихъ преобразованіяхъ?

Откажись отъ всего! Живи, влачи свою ненужную жизнь, презирая самъ себя...

И я влачилъ свое гнусное существованіе, глубоко презирая самого себя, пока не встрѣтилъ „женщины, которая возродила меня къ свѣту“.

Она была на выпускѣ, и мнѣ казалось, что когда она кончитъ школу и я кончу школу, тогда мы вмѣстѣ пойдемъ по жизненному пути; она — полная силъ, свѣтлая, лучезарная, я — обновленный, воспрянувшій.

— Я усталъ жить, дорогая Шура!—говорилъ я ей.— Идеалы разбиты, мечты поруганы, жизнь потеряла смыслъ, несмотри на то, что я всего еще только въ шестомъ классѣ...

Я много жилъ сердцемъ и умомъ. Жизнь теряла для меня всѣ краски и цвѣта, когда я встрѣтилъ

тебя.. „Меня добру и небесамъ ты возвратить могла бы словомъ. Какъ ангелъ новый, въ блескѣ новомъ, святой любви твоей покровомъ одѣтый я предсталъ бы тамъ".

И тутъ же клялся, что

„На челѣ, тебя достойномъ,
Сотру проклятія печать"...

Затѣмъ все это прошло, миновало, и я „вступилъ въ жизнь", съ добродушною улыбкой оглянувшись на прошлое.

Все это было очень глупо. Но вѣдь передѣлать весь міръ я мечталъ, когда мнѣ было 14 лѣтъ, а отравлялся, когда мнѣ миновало 15, и „воспрянулъ къ жизни новой", когда мнѣ исполнилось 16 лѣтъ отроду...

Отравлялся я изъ-за такого высокаго мотива, какъ отчаяніе въ исполненіи „завѣтныхъ плановъ".

А когда говорилъ съ моею милой, маленькою Шурой, то на самомъ дѣлѣ мнѣ казалось, что за моими плечами выросли крылья падшаго ангела.

Это было очень глупо.

Но когда все это прошло, я вспомнилъ объ этихъ глупостяхъ съ добродушною улыбкой, какъ о глупыхъ, но веселыхъ снахъ, грезившихся въ туманномъ сумракѣ разсвѣта, и бодро принялся за свой трудовой день.

А теперь...

Мнѣ хотѣлось бы прослѣдить развитіе застрѣлившагося или попавшаго на скамью подсудимыхъ молодого человѣка съ перваго момента, когда онъ сталъ превращаться изъ мальчика въ „молодого человѣка", какъ превращается куколка изъ червяка

Для этого я беру тотъ знаменательный день, когда онъ впервые выказалъ свою самостоятельность, продалъ, по его мнѣнію, ненужный учебникъ, пошелъ на галерку въ опереточный театръ и, чувствуя тошноту и головокруженіе, выкурилъ на лѣстницѣ первую папиросу въ своей жизни.

— А вѣдь вчера было очень недурно,—говоритъ онъ на слѣдующій день во время большой перемѣны:— эта Разлюляева очень-очень мила. Ее много вызывали. Я бы самъ принялъ участіе въ овацiи, да, признаться, очень курить хотѣлось: лучше, думаю, пойду покурю, чѣмъ Разлюляеву вызывать.

— И не стоило! Дрянь! Думаетъ, что если она съ богатымъ человѣкомъ живетъ да сама себѣ букеты подноситъ, такъ она и актриса? Халдина почище ея будетъ...

Эта тирада, выпаленная четвероклассникомъ Азбукинымъ, производитъ на бѣднаго молодого человѣка ошеломляющее впечатлѣніе. Словно какой-то голубой флеръ, прикрывавшій вчера сцену и державшій все въ таинственномъ, интересномъ полумракѣ, слетѣлъ, и при тускломъ свѣтѣ коптящихъ керосиновыхъ лампъ передъ нимъ показался грязный полъ, обтрепанныя тряпки декорацій и затасканная мебель.

— Какъ??? Развѣ это Разлюляева сама себѣ подноситъ букеты, и развѣ она не актриса, а... живетъ съ богатымъ человѣкомъ?

— Эхъ, ты, филя! А ты думалъ, что „поклонники таланта“ въ увлеченіи подносятъ? Держи карманъ шире! Поднесутъ!.. „Не въ шитьѣ, милый, была тамъ сила“... Хе-хе-хе! Не знаешь еще закулисныхъ тайнъ, а намъ, братъ, все это какъ на ладонкѣ! Хо-

чешь, сегодня вечеромъ къ примадоннѣ Халдиной поѣдемъ? Она, кстати, и не занята. Ее эта Разлюляева оттираетъ, всѣ роли себѣ требуетъ. Тамъ, братъ, такихъ вещей наслушаешься.

— А ты и у Халдиной бываешь?

— Насъ много, четвероклассниковъ, къ ней чайку попить заходятъ. Принимаетъ очень любезно. Разумѣется, съ расчетомъ. Чувствуетъ, что мы — сила. Чай, пріятно, когда ее разъ пятнадцать послѣ спектакля вызовемъ или Разлюляеву ошикаемъ...

— А за что же Разлюляевой-то шикать?. У нея, братъ, все-таки голосъ...

— Ну, ужъ это, братъ, у насъ въ опереткѣ такъ принято: разъ ты „халдинецъ“, то ужъ „разлюляевцемъ“ быть нельзя. Свисти! Идемъ, что ли?

— Я буду очень радъ, если ты меня представишь...

— Чего тутъ представлять, прямо познакомлю. Это она должна за счастье считать, что мы, молодежь, ее поддерживаемъ. Чай, жрать-то ей хочется! Теперь ей антрепренеръ семьсотъ въ мѣсяцъ платитъ, а если успѣха имѣть не будетъ, что ей дадутъ? Шишъ!

„Молодой человѣкъ“ чувствуетъ какое-то головокруженіе.

„Престранные люди эти артисты! Скажите, а я-то думалъ“...

— Вотъ вамъ, Вѣдьма Крокодиловна, „разлюляевецъ“! — представляетъ „молодого человѣка“ вечеромъ Азбукинъ примадоннѣ Халдиной,—увидалъ и втюрился!

— Въ Разлюляеву? — пожимаетъ плечами Халдина. — Немудрено! Такія женщины всегда нравятся.

Онѣ имѣютъ успѣхъ. За ними вѣчно потрое, почетверо гоняются. А посмотрѣли бы вы, какъ эта Разлюляева въ Карасубазарѣ за пятнадцать цѣлкачей въ мѣсяцъ хористкой шмыгала! И съ этакою-то дрянью служить приходится, и этакая нравится!..

— Я-съ... да я-съ... да нѣтъ-съ...—путается и конфузится „молодой человѣкъ“.

Примадонна ударяется даже въ слезы.

– И этакая-то дрянь роли еще отбиваетъ! Знаете, Азбукинъ, вѣдь она въ понедѣльникъ „Куртизанку“ играетъ...

— Освищемъ!..

— Я свистать не прошу, потому что я прежде всего товарищъ. Но вы посмотрите, а потомъ и скажите свое мнѣніе..

— Все равно освищемъ!...

— А вы, „молодой человѣкъ“, въ понедѣльникъ тоже будете?

— Я-съ... да-съ... конечно-съ...

— Еще бы, вѣдь я забыла, что вы „разлюляевецъ“!

— Нѣтъ-съ... что вы-съ... помилуйте-съ...

— Теперь „халдинецъ“ Развѣ противъ васъ кто устоитъ? — закуривая на дорогу папиросу, говоритъ Азбукинъ.

— Шалунъ! — грозитъ ему пальцемъ Халдина, прощаясь съ „молодымъ человѣкомъ“ и немножко дольше обыкновеннаго задерживая его руку въ своей.— Такъ въ понедѣльникъ будете?..

— Я... бббуду-съ...

— Ну, что?—спрашиваетъ Азбукинъ.—Видѣлъ, каковы онѣ, артистки-то эти самыя?

— Она, братъ, прелесть...

— Дрянь, собственно говоря, но поддержать ее слѣдуетъ, потому что Разлюляева смѣла еще на прошлой недѣлѣ насъ „мальчишками“ назвать. Вотъ мы ей въ понедѣльникъ покажемъ, какіе мы мальчишки...

— Знаешь что, Азбукинъ, обѣщать-то я обѣщалъ... Но только, братъ, я не знаю, будутъ ли у меня въ понедѣльникъ-то деньги...

— Эхъ, дуралей! Что жъ ты у Халдиной-то не сказалъ? Она бы тебѣ контрамарку взяла! Ну, да ладно, завтра я буду у нея и возьму для тебя контрамарочку. Съ ними церемониться нечего: по ихъ же дѣлу въ театръ ходимъ...

„Голубой флеръ“ исчезаетъ окончательно, и „молодой человѣкъ“ входитъ въ курсъ дѣла.

— Ты изъ классовъ куда? — спрашиваетъ Азбукинъ.

— Къ Халдиной, а вечеромъ въ театръ: сегодня Разлюляехѣ корзину подносятъ. Надо будетъ посвистать какъ слѣдуетъ. Послѣ спектакля Халдина чай пить звала...

— Да что ты зачастилъ къ Халдиной? Втюрился, что ли?

— Ну, братъ, я не втюрюсь, не таковскій! Знаю, что она дрянцо, но, признаться, мнѣ она нравится.

— Ну, ужъ это, братецъ, отложите вашъ характеръ! Тутъ, братъ, дальше контрамарокъ ни-ни... Ты за кулисами бывалъ?

— Нне случалось...

— Пойдемъ съ Хвостиковой познакомлю. Можешь пріударить. Эта нами не брезгуетъ, потому поклон-

ники въ оскудѣніи, хотя въ „триковыхъ“ роляхъ она любой примадоннѣ сорокъ очковъ впередъ дастъ...

— Еще бы! — облизывается „молодой человѣкъ“.

— Намъ, братъ, первыми персонажами заниматься раненько, — продолжаетъ свою практическую философію Азбукинъ.—Ничего, намъ и второстепенныхъ сюжетовъ достаточно!.. Конфетъ ей къ чаю принеси только...

Въ промозгломъ воздухѣ кулисъ, накаленномъ и провонявшемъ газомъ, среди декольтированныхъ хористокъ и „одѣтыхъ“ въ трико пажей „молодой человѣкъ“ ходитъ, какъ угорѣлый, какъ пьяный, и въ головѣ зудитъ и не даетъ покоя одна мысль:

„Гдѣ бы достать рубль на абрикосовскія конфеты?“

— Приходите пить чай! — говоритъ Хвостикова, съ конфетами, я люблю шоколадныя!

„А была не была!“ думаетъ „молодой человѣкъ“, и на слѣдующій день вретъ матери:

— Мама! У насъ товарищъ одинъ заболѣлъ.. Вотъ я ему рубль подписалъ... Надо отнести... Съ этихъ поръ „рубль“, это — его единственная мысль, мечта, желаніе. Онъ думаетъ о немъ ежеминутно, ежесекундно, за уроками, дома, въ классѣ, въ театрѣ, за чаемъ у Хвостиковой...

Онъ долженъ достать сегодня рубль.

Онъ мучится и видитъ, что помощникъ присяжнаго повѣреннаго Израельсонъ появляется у Хвостиковой все чаще и чаще. Онъ возитъ ежедневно не рублевыя конфеты, а цѣлые шоколадные торты, и она ѣстъ съ удовольствіемъ эти торты, пока помощникъ присяжнаго повѣреннаго Израельсонъ снисходи-

тельно подшучиваетъ надъ нимъ, надъ его молодостью, едва пробивающимися усиками, его единицами, его любовью.

Онъ давится слезами, чувствуетъ, что спазмы сжимаютъ ему горло, и въ концѣ концовъ этотъ бѣдный, слабый, надломленный, измученный мыслью о ней и о „рублѣ“ мальчикъ не выдерживаетъ: онъ „закатываетъ ей сцену“.

— Убирайтесь вонъ! — спокойно-презрительно говоритъ она, доѣдая шоколадный тортъ.— Вы мнѣ надоѣли!

— Ага! Израельсонъ!.. Израельсонъ!..—съ искаженнымъ отъ злобы лицомъ говоритъ онъ, сжимая въ безсильной злобѣ кулачонки.

— Разумѣется, Израельсонъ! Этотъ хоть приличный поклонникъ, а то всѣ хохочутъ даже: мальчишки только и ухаживаютъ.

— Ага! Значитъ, настоящій поклонникъ!

— Что-о такое? Да какъ вы смѣете говорить такія вещи? Вонъ, скверный мальчишка!

Онъ задыхается, какой-то хрипъ вырывается изъ горла.

— Ага!.. Хорошо же... Такъ мы васъ... такъ мы тебя ошикаемъ.

— А я твоимъ родителямъ все напишу. Мамаша тебя выпоретъ, — только и всего.

Его выбросили за дверь, его оскорбили, его преднамѣренно ударили по самому больному мѣсту, у него кружится голова отъ оскорбленія, стыда, срама, страсти.

— Что дѣлать? Что дѣлать?— съ тоскою повторяетъ онъ.

Тутъ была вѣчная мука изъ-за рубля, но все-таки это была жизнь... А теперь?.. Приняться за уроки?

Ахъ, никогда еще не были такъ противны эти книги, которыя вѣчно напоминаютъ, что онъ мальчишка...

— Такъ я же докажу, я докажу, что я не мальчишка!

И онъ „доказываетъ“. На сцену является нашатырный спиртъ—превосходное лѣкарство отъ болѣзни сердца.

Но его „отходили“, онъ выздоровѣлъ. Онъ пересталъ бывать въ опереткѣ, гдѣ всѣ хохочутъ надъ его глупою „трагедіей“, но ему скучно дома.

Онъ снова шляется по галеркамъ театровъ, сегодня освистывая пѣвца X и аплодируя пѣвцу У, завтра дѣлая наоборотъ. Что дѣлать? Контрамарки необходимы. Но для него сцена теперь не задернута таинственнымъ голубоватымъ флеромъ. Далеко нѣтъ!

— Какъ хороша г-жа А въ этой роли!

— Да, эту роль она достала, давши взятку г. Б, а заплатилъ, разумѣется, г. В.

— Какая хорошая пьеса!

— Сшита по заказу г-жи Г. Вѣдь драматургъ Д за ней ухаживаетъ. Ахъ, батенька, когда знаешь всю эту подноготную, тогда не существуетъ ни хорошихъ пьесъ ни хорошихъ актрисъ. Просто скучно.

Скучно! Все стало сѣро, буднично и скучно, скучно, скучно безъ конца!..

Хоть бы подхватило что, закружило, завертѣло... Что это все? Кислятина! Ничего пикантнаго, остраго! Скука...

— О, дай мнѣ забвенья, лишь только забвенья!— бормочетъ про себя „молодой человѣкъ“ слышанный вчера у „Яра“ романсъ.

Юзя, — вотъ это женщина!

— Ты мнѣ нравишься, — сказала она, — пріѣзжай завтра за мной кататься. Только въ коляскѣ, и чтобы на резинѣ...

„Молодой человѣкъ“ со смѣхомъ вспоминаетъ про Хвостикову.

— Чай съ конфетами и ревность изъ-за торта! Какая идиллія!—издѣвается онъ.—Нѣтъ, закрутиться, такъ закрутиться! Коляска—10 рублей, ужинъ у Яра—25 рублей, Юзя просила достать 15 рублей. Итого пятьдесятъ рублей въ день, которые нужно достать, во что бы то ни стало достать, доставаньемъ которыхъ занятъ цѣлый день, съ утра до ночи. Слава Богу, что хоть какъ-нибудь занятъ! А то это тоскливое сидѣнье въ Татарскомъ ресторанѣ за обѣдомъ въ шесть гривенъ, въ тѣ дни, когда не удается достать необходимыхъ пятидесяти рублей.

Эти обѣды въ компаніи „загородныхъ знакомыхъ“, которымъ тоже не удалось достать сегодня денегъ.

Эти одни и тѣ же разговоры:

— Какъ дѣла?

— Скверно. Денегъ ни гроша!

— Хоть бы занять.

— У кого?

— Вѣдь вотъ везетъ же людямъ. Вчера Кутиловъ у Альфонсова двѣсти занялъ.

— Альфонсовъ молодчина. Говорятъ, съ такою теперь милліонершей...

— Это что за молодецъ! Вотъ былъ Жуликовъ. Тотъ былъ молодецъ...

Да онъ и самъ молодецъ. Онъ и самъ на что угодно готовъ... Но только случая, случая нѣтъ...

И вдругъ какъ-то въ самый скверный вечеръ, когда Юзя потребовала привезти во что бы то ни стало 100 рублей... одинъ изъ компаніоновъ по обѣду въ шесть гривенъ говоритъ, слегка понижая голосъ:

— А что бы вы сказали, молодой человѣкъ, если бы вамъ предложили участвовать въ комбинаціи...

Въ результатѣ:

— Обвиняемый, сколько вамъ лѣтъ?

— Девятнадцать!

Преступные подростки.

Давыдовъ убилъ Винавера.

Это ужасно.

Давыдовъ не только убилъ, но и ограбилъ убитаго.

Это еще ужаснѣе.

И при всемъ томъ Давыдову едва-едва 18 лѣтъ.

Это ужаснѣе всего.

— Молодость и жестокость! Юность и преступленіе. Есть ли „пары“ болѣе невѣроятныя!

А между тѣмъ каторга наполнена 16, 17, 18-лѣтними убійцами.

15-лѣтними отцеубійцами, 16-лѣтними убійцами съ цѣлью грабежа, 17-лѣтними убійцами съ заранѣе обдуманнымъ намѣреніемъ.

Разъ ихъ много, значитъ, это уже не ужасный „случай“.

Разъ исключеній много, значитъ, это уже не исключеніе, а какое-то особое „правило“.

И въ этихъ сопоставленіяхъ „молодость“ и „преступленіе“, „юность“ и „жестокость“ нѣтъ ничего исключительнаго, „чудовищнаго“.

Это ужасно,—но это и естественно.

Человѣкъ родится съ двумя ногами, чтобы бѣгать отъ опасности, двумя руками, чтобы бить и отни-

мать, съ головой, чтобы обдумывать засады и ловушки.

Затѣмъ воспитаніе, семья, школа, среда, общество дѣлаютъ изъ него „зоон политикон“

Иногда.

Нѣкоторые такъ и сохраняютъ до смерти страсть къ насилію, къ произволу, къ жестокости. Умираютъ тѣмъ же животнымъ, какимъ и родились.

И это превращеніе ребенка-звѣря въ „зоон политикон“ совершается съ большимъ трудомъ, съ сильнымъ противодѣйствіемъ со стороны ребенка, подростка, юноши.

Ребенокъ, это—звѣрь со врожденнымъ инстинктомъ разрушенія, насилія, жестокости.

Онъ ломаетъ игрушки, мучитъ животныхъ, бьетъ слабѣйшихъ дѣтей.

Что бы вы ему ни дали, у него все пробуждаетъ одинъ инстинктъ—разрушенія:

— Сломать!

Когда онъ предоставленъ самому себѣ, онъ развлекается тѣмъ, что обрываетъ крылья у мухъ, мучитъ собакъ, кошекъ, причиняетъ имъ боль и въ ихъ мученіяхъ, въ визгѣ кошекъ и собакъ находитъ для себя наслажденіе.

Поступивъ въ школу, онъ бьетъ и истязаетъ новичковъ.

Удовольствіе вовсе не тѣмъ выше, чѣмъ сильнѣе мученіе, а тѣмъ, чѣмъ жертва сильнѣе выражаетъ испытываемыя страданія.

Въ классѣ очень быстро перестаютъ бить тѣхъ, кто молчитъ. Никакого удовольствія. Бить любятъ „плаксъ“.

Чѣмъ плаксивѣе ребенокъ, чѣмъ сильнѣе онъ выражаетъ испытываемыя мученія, тѣмъ съ большимъ удовольствіемъ его колотятъ.

Если бы можно было устроить плебисцитъ среди дѣтей: „Кѣмъ бы они желали быть?“—конечно, получился бы на девяносто девять сотыхъ отвѣтъ:

— Военными!

И не только потому, что „форма красивая“, но еще и потому, что военные бьютъ, колютъ, рубятъ, рѣжутъ.

Въ болѣе раннемъ возрастѣ идеалъ ребенка — пожарный.

Даже дѣвочки очень охотно играютъ въ пожарныхъ.

Но это ранній періодъ,—періодъ „инстинкта разрушенія“, когда дѣти только ломаютъ игрушки. Тогда ихъ идеалъ—„быть пожарнымъ“, потому что пожарный кидается, ломаетъ, разрушаетъ.

Когда ребенокъ отъ насилія надъ вещами переходитъ къ мучительству, его идеалъ—военный.

И „стоны и вопли побѣжденныхъ“ заставляютъ пылать дѣтскую голову, опьяняютъ не меньше, чѣмъ „крикъ торжества побѣдителей“.

„Героическое“ привлекаетъ ребенка, подростка, юношу.

Убійство чаще всего родится въ головѣ именно юноши.

Кто въ юности не былъ убійцей въ мысляхъ, въ мечтахъ? Кто не убивалъ въ фантазіи своей своихъ „враговъ“, притѣснителей, обидчиковъ?

И всякій, мечтая объ убійствѣ, рисовалъ себѣ стоны, вопли, безпомощность жертвъ. Это-то и привлекало его.

Если вы разсмотрите преступленія, совершаемыя подростками, то вы увидите, что они всегда жестоки.

Въ этомъ особенность преступленій подростковъ. Имъ нужны мученія, жертвы. Безъ этого не было бы и удовольствія.

Ихъ привлекаетъ не самый фактъ убійства, не самый грабежъ даже, если убійство съ цѣлью грабежа, а эта картина, какъ жертва очутится безпомощной, беззащитной передъ нимъ, могучимъ, сильнымъ, вооруженнымъ.

„Героическая“ сторона привлекаетъ ихъ.

И, подъ вліяніемъ страсти къ „героическому“, подростокъ прибѣгаетъ къ убійству тамъ, гдѣ прозаически настроенный взрослый нашелъ бы другой исходъ.

Каждый человѣкъ, идя жизненной тропой, проходитъ около преступленія, близко-близко, едва не касаясь его.

Молодость страшно близка къ преступленію.

Каждый подростокъ проходитъ едва-едва мимо возможности стать преступникомъ.

Но однихъ удерживаетъ слабость, другихъ—постороннія обстоятельства.

И это не значитъ, что тѣ, которымъ только постороннія обстоятельства помѣшали совершить преступленіе, потомъ остаются звѣрями.

Нѣтъ. Они дѣлаются впослѣдствіи очень добрыми, очень хорошими, — иногда просто „на рѣдкость“ людьми.

Я могу вамъ передать разсказъ, слышанный мною отъ одного очень почтеннаго дѣятеля. Я имѣю разрѣшеніе даже назвать его имя, но не думаю, чтобъ это было нужно.

— Это происходило, когда мнѣ было 18 лѣтъ и, къ тогдашнему стыду моему, я понятія не имѣлъ о „Преступленіи и наказаніи“. Такъ что Достоевскій, котораго принято теперь сажать на скамью подсудимыхъ по всѣмъ дѣламъ объ убійствѣ съ цѣлью грабежа, былъ совсѣмъ ни при чемъ. Если бы въ то время кто-нибудь сказалъ при мнѣ: „Раскольниковъ“,— я бы спросилъ, кто это такой. Я жилъ въ Москвѣ одинокій и бѣдствовалъ, какъ бѣдствуетъ много юношей. Умѣлъ только одно — давать уроки. Ходилъ черезъ весь городъ на 12-рублевый урокъ, но когда мальчикъ, благодаря моимъ занятіямъ, поправился и сталъ учиться хорошо, я лишился и этого урока. Началось „продаванье съ себя“. Жилъ въ каморкѣ подъ лѣстницей, какъ многіе, конечно, не платилъ,—квартирная хозяйка каждое утро задавала мнѣ концерты. „Срамила“. Отворяла всѣ двери, чтобъ другіе, служащіе по мѣстамъ писаря, порядочные, платящіе жильцы, слышали, и кричала: „Скоро выберетесь? Черезъ мирового васъ выкидать? Вотъ навяжется на шею лодырь! Не платитъ, — да еще время изъ-за него теряй, по мировымъ шляйся!“ Я затворялъ дверь, она отворяла: „Нечего затворять-то! Слушать не любишь, а деньги не платить — любишь? Сама потомъ, кровью, горбомъ деньги зарабатываю. Да еще такого олахаря на шеѣ держать?“ И, обращаясь къ другимъ жильцамъ, каждое утро повѣствовала, указывая на меня грязнымъ пальцемъ. Отлично я этотъ палецъ помню. „Вѣдь живетъ-то какъ. Собаки лучше живутъ. Тфу! Прости, Господи! Чаю мѣсяцъ не пилъ, бѣлья смѣнить нечѣмъ. На бѣлье посмотрѣть,—стошнитъ. Тфу!“ Бѣдности безъ униженій не бываетъ. Бѣдный живетъ

среди бѣдныхъ. А бѣдные всегда отъ бѣдности злы. Жильцы „при мѣстахъ“, въ сравнительно чистыхъ рубахахъ и даже съ подтяжками,—что ужъ роскошь!—стояли въ дверяхъ, сказать ничего не смѣли, потому что въ морду бы далъ, — но зато смотрѣли. Какъ смотрѣли! Потому что были „при мѣстахъ“. Проѣдалъ я все съ себя постепенно. Пальто проѣлъ. Шляпу на картузъ парусинный, старый, съ ломанымъ козырькомъ смѣнялъ и проѣлъ. Жилетку проѣлъ, ходилъ въ пидкажѣ, застегнувшись. Пиджакъ и штаны мѣнялъ, мѣнялъ „съ придачей“, и до того домѣнялся, что была у меня не одежда, а смѣнка. Бѣлья не было. Рубашку продалъ, можно воротникъ у пиджака стоймя поднимать; не видно. Носки пришлось выбросить, въ газетную бумагу ноги обертывалъ. Удавился у меня тутъ товарищъ, такой же, какъ я. Пошелъ въ больницу, при которой его потрошили, на отпѣваніе. За отпѣваніемъ, гляжу, все сидѣлка одна на меня поглядываетъ. Среднихъ лѣтъ, полная такая, красивая. „Эхъ бы!“ думаю. Послѣ отпѣванія подходитъ она ко мнѣ, говоритъ: „Извините, пожалуйста! Не зайдете ли ко мнѣ?“ — „Съ удовольствіемъ!“ говорю. Иду, ликую. Зашли, дверь притворили. „Извините, — говоритъ, — пожалуйста! У меня послѣ мужа покойника бѣлье осталось. Позвольте вамъ рубашку предложить. У васъ нѣту. За упокой души!“ „Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ!“ закричалъ и дёру. „Дрянь, — думаю,— дѣло! Совсѣмъ дрянь!“ Къ армянину одному зашелъ, прослышалъ, что урокъ есть. Горничная за дверьми велѣла подождать, въ передней, пока докладывать пошла, одного не оставила. Въ первый разъ это со мной случилось! Армянинъ принялъ, весьма внима-

тельно оглядывалъ: „Благодару, — говоритъ, — рэпэтиторъ ужъ имэемъ. Будьте такіе добры, пасыдите минутку". Ушелъ въ другую комнату и выноситъ сапоги. „Чэловэкъ молодой... Сапоги малудэржанный, харушій". Не помню ужъ, какъ выбѣжалъ. Жутко стало. А все нахожусь. Посидишь сутки не жравши, глядь, и нашелъ, что проѣсть. Ахъ, какъ много около человѣка мелочей, на которыя съѣсть можно. То, глядишь, подъ койкой чемоданъ парусинный съ продраннымъ бокомъ лежитъ, сейчасъ его къ Петру Сидоровичу и тащишь. То книга чья-то, когда-то, у кого-то почитать взялъ, сейчасъ у Петра Сидоровича мальчишку Петьку соблазнять идешь: „Купи, читать будешь!" Петръ Сидоровичъ держалъ неподалеку закусочную. Не лавка, а уголъ, троимъ не повернуться. Онъ никогда ничего не покупалъ, а всегда все бралъ въ залогъ безъ отдачи. „Петръ Сидоровичъ! Купите жилетку!"—„Какой я тебѣ покупатель! На что мнѣ?"—„Такъ дайте подъ нее что". Поломается, скажетъ: „Развѣ ужъ такъ, тебя жалѣючи! Дамъ четвертакъ!"—„Петръ Сидоровичъ, жилетка полтинника стоитъ, ей Богу, стоитъ!" — „Да развѣ я говорю, чудакъ человѣкъ, не стоитъ? Извѣстно, стоитъ! Ежели купить! А я, самъ знашь, не покупаю. Тебѣ же легче потомъ назадъ взять". Соглашаешься, отпускаетъ съѣстнымъ. „На на четвертакъ!" И даетъ на гривенникъ. Деньгами никогда не давалъ. „Все одно, у другого прожрешь. Что я сосѣдей, что ль, кормить буду?" Чтобы дешевле вещь взять, часа, бывало, полтора проморитъ. „Не надо! Не дамъ! Что я тебѣ за закладчикъ?" Изъ лавочки гонитъ. „Не толкись! Безъ тебя тѣсно! Убирайся, убирайся, говорю тебѣ! Что жъ, мнѣ тебя

съ городовыми, что ли, гнать?!“ А тутъ жареная колбаса въ черномъ желѣзномъ ящикѣ кипитъ, рубецъ свернутый лежитъ, бѣлый-бѣлый. Мальчишка Петька вѣсовой ситникъ рѣжетъ, нарочно, подлецъ, поддразниваетъ: „Эхъ, хорошъ нонѣ ситникъ!“ Покупатели заходятъ безъ перерыва. „Отрѣжь на пятакъ колбасы! Дай на трешникъ рубца! Взрѣжь-ка, милый, полситничка, вложь туда колбаски въ середочку!“ Все рѣжутъ, все пахнетъ, — а я тутъ стою, при покупателяхъ говорить про „закладъ“ не смѣю; какъ покупатель выйдетъ, опять упрашивать начинаю: „Петръ Сидоровичъ, возьмите рубаху!“ Петръ Сидоровичъ будто и не слышитъ, а потомъ вдругъ скажетъ Петькѣ: „Петрушка, постой-ка, я покеда въ трактиръ схожу, чайкю испью!“ И уйдетъ. Тутъ настоящія-то мученья и начинались. Петька, приказчикъ, былъ маленькій клопикъ и кусалъ больнѣе. Изъ него теперь у-ухъ какой, небось, торговецъ вышелъ, если только онъ за покупку завѣдомокраденаго въ тюрьму не угодилъ, или кто ему, за языкъ его поганый, головы не прошибъ. Вѣрите ли, до сихъ поръ мальчишку этого ненавижу. Вспомнить не могу! Прямо изъ деревни мальчонка, — и сразу въ колею вошелъ. Онъ на мнѣ съ любовью упражнялся. Петръ Сидоровичъ, тотъ человѣкъ солидный, молчалъ, а этотъ на мнѣ зубы точилъ. Всѣ, бывало, оскорбительныя поговорки, которыя отъ взрослыхъ слышалъ, на мнѣ примѣнять учится. Гордъ онъ былъ, что „торговлю на него оставляютъ“. Сядетъ: „Ну-ка, баринъ, точеныя ноги, разскажи, чему такому васъ въ емназіяхъ, синяя говядина, красныя кишки, обучаютъ?“ Клопикъ пилъ, наливался кровью. Какъ Петръ Сидоровичъ изъ

лавки, сейчасъ копейку, двѣ за голенище. Петръ Сидоровичъ, бывало, все-таки дастъ что-нибудь похожее на цѣну. А клопикъ всякую копейку съ особымъ наслажденіемъ утянуть старается. Учился, подлецъ! И измывается, и измывается. А я стою, отъ желѣзнаго чернаго ящика, гдѣ колбаса шипитъ, отойти не могу. А онъ, подлецъ, еще нарочно ящикъ отворитъ, колбасу перевернетъ. И стою я, и что онъ говоритъ — наполовину слышу. Слышу одно: колбасой пахнетъ, и больше ничего! И слюней полонъ ротъ. И вотъ дошло до того, что проѣдать больше нечего. „Лишняго“ ничего. Осталась одна карточка Иванова-Козельскаго въ роли Гамлета. Увлекшись, какъ-то, послѣ одного спектакля, купилъ. Кабинетный портретъ. Взялъ, пошелъ. Петра Сидоровича нѣтъ. Подождалъ я съ часъ, съ Петькой-подлецомъ говорить не хотѣлъ. Петька мнѣ и говоритъ: „Чего стоишь-то! Петра Сидоровича тебѣ и не будетъ. Боленъ онъ, Петръ Сидоровичъ. Лежитъ. Не выходитъ“. Тутъ я Петькѣ портретъ показываю: „Куши!“ Разсказалъ ему, въ чемъ дѣло. „Тэкъ-съ,—говоритъ,—это, что жъ, тебѣ сродственникъ, что ли, комедіянтъ-то будетъ? Аль такъ: вмѣстѣ, можетъ, подъ Дѣвичьимъ ломаетесь?“— „Возьми, — говорю, — дура! Выкуплю!“ — „Оченно,—говоритъ, — надотъ комедіянтовъ покупать. Ты мнѣ какой другой патретъ принеси, гдѣ бъ приказчикъ былъ съ гармонью. И въ спинжакѣ. И сапоги съ наборомъ. И гармонь чтобъ съ ладами. Вотъ это пріятно! Это бъ я на стѣнкѣ надъ постелью повѣсилъ. А то комедіянтъ!“ Уговаривалъ, уговаривалъ: „Ладно,—говоритъ, — чортъ съ тобой. Копейку дамъ, чтобъ не отсвѣчивалъ. Стоишь въ лавкѣ, канючишь, — стыдо-

бушка. Продамъ твоего комедіянта музыкантамъ, которые съ птичкой ходятъ, птичка съ портретомъ счастье вынимаетъ".—„Дай, — говорю, — хоть двѣ копейки, Петька! Чортъ!"—„Бери,—говоритъ,—что даютъ!" И отрѣзалъ мнѣ отъ двухкопеечнаго ситничка на копейку. И тутъ подлецъ, изъ любви ужъ къ искусству, меньше половины ситничка отрѣзалъ. „Положи, — говорю,—хоть колбаски кусочекъ!"—„И въ сухомятку,— говоритъ,— сожрешь. Колбаса для извозчиковъ. А ты что за извозчикъ?" Отошелъ я отъ лавочки, чтобъ у Петьки-подлеца на глазахъ не ѣсть, зашелъ за уголъ, въ два укуса полситника проглотилъ, только голодъ раздразнилъ,—и вдругъ охватила меня злоба, бѣшеная, нестерпимая. И вдругъ я возненавидѣлъ Петра Сидоровича. Одного Петра Сидоровича! За все возненавидѣлъ. И за хозяйку, и за Петьку, и за сидѣлку, которая рубашку предложила, и за армянина. „Больной лежитъ теперь?" Убить его. Убить—и все. Не скажу, чтобъ у меня другихъ мыслей не было. И колбаса въ мысляхъ была, и ситникъ рыхлый, свѣжій, и вообще ѣда. Но надо всѣмъ стоялъ вопль: „Убить!" Хожу по улицамъ, трясусь весь, съ одной стороны на другую перебѣгаю, и все меня къ дому-то, къ дому тянетъ, — Петръ Сидоровичъ въ домѣ, противъ своей закусочной жилъ. И представляется мнѣ, какъ я его, маленькаго, толстенькаго, пузатенькаго, убиваю, коверкаю, мучаю, а онъ ежится, корежится у меня въ рукахъ, глаза выкатились, мука смертная, на лицѣ ужасъ, „прости", „не убивай!"—молитъ. А я-то его, я-то его. Да понемногу! Не совладалъ, такое желаніе поднялось, какъ бываетъ желаніе обладать женщиной. Пошелъ. Смеркалось. Прошелъ дворъ грязнѣйшій,

къ двери, обитой рогожей, подошелъ, оглянулся—никого, никто убивать не помѣшаетъ, и за скобку потянулъ. Шелъ я его, конечно, ограбить. Даже дорогой думалъ: „Гдѣ у него деньги и поцѣннѣе что лежитъ?“ Но, входя, ей Богу не объ этомъ думалъ, а только о томъ, какъ онъ меня молить будетъ. Отворилъ дверь наружную, толкнулъ внутреннюю, — туда отворялась. Комната была небольшая. Окна геранью заросли. Натоплено было страшно. Пахло лампаднымъ масломъ, чѣмъ-то кислымъ, какими-то травами. Въ углу передъ большими иконами въ темныхъ ризахъ горѣли лампадки. А подъ иконами, на грязныхъ ситцевыхъ подушкахъ, лежалъ Петръ Сидоровичъ. Красный, весь въ жару, весь въ огнѣ, потный. На шеѣ жилы вздулись. Лежалъ и безпокойно головой по подушкамъ метался. Услыхалъ, что дверь отворяется, и забезпокоился. „Кто тамъ? Кто?“ спрашиваетъ. Голосъ хриплый, еле слышный. И сразу мнѣ эта его голова на подушкахъ вырисовалась. Подхожу къ кровати. А на лицѣ у него испугъ разливается, мечется, привстать силится: „Кто? Что? Что надоть?“ И страхъ, страхъ такой у него, ужасъ. Началось мое наслажденіе. „Ага! — думаю и смотрю, какъ мечется.—Вотъ оно! Вотъ оно! И на шею его гляжу, на вздутыя жилы. Сейчасъ я за эти вздутыя жилы возьму, и глаза эти красные полѣзутъ, хрипѣть будетъ, корчиться. И вдругъ онъ мнѣ, красный, потный, мечущійся, испуганный, такъ сталъ противенъ, омерзителенъ, гадокъ, почти страшенъ. „Задушить, какъ гадину!“ Шагнулъ я, поднялся онъ. Вдругъ стукъ сзади и голосъ: „Здравствуйте!“ Руки у меня опустились. Петръ Сидоровичъ съ постели вскочилъ, къ вошедшему кинулся. А я,

самъ не помню какъ, въ дверь. Слышалъ только, какъ „держи“ сзади крикнули. Духомъ пролетѣлъ дворъ, за ворота выбѣжалъ, мѣсто людное, и въ толпу прохожихъ затесался и иду, какъ ни въ чемъ не бывало, только чувствую, ноги подкашиваются, и вдругъ ко сну клонить начало. Пришелъ домой, едва до койки добрался, легъ, заснулъ какъ убитый, часовъ пятнадцать спалъ. Просыпаюсь, — кто-то тормошитъ. Товарищъ: „Гдѣ ты,— говоритъ,— чортъ ты этакій, пропадаешь? Вчера у тебя три раза днемъ былъ. Ищу. Урокъ есть, — на 30 рублей, братецъ!“

— Больше вы Петра Сидоровича не видали?—спросилъ я разсказчика.

— Нѣтъ, больше не ходилъ. На урокѣ впередъ даже дали,—поправился. Такъ и не знаю, узналъ онъ меня тогда или нѣтъ. Но потомъ я видѣлъ. Ужъ когда совсѣмъ „отлично жилъ“, что называется. Пріѣхалъ въ Москву, и вдругъ захотѣлось мнѣ опять тѣ палестины посмотрѣть, гдѣ я съ голода дохъ, — и, главное, если можно, человѣка, изъ-за котораго я чуть-чуть не попалъ въ каторгу. Поиграть съ прошлымъ. Желаніе странное, мучительное и сладкое. Все тамъ по-старому. Та же бѣднота, и такъ же бѣдствуетъ. И Петръ Сидоровичъ живъ, и ту же закусочную лавку держитъ. Постарѣлъ, конечно, сильно, но такой же кругленькій, пузатенькій. Удивился и испугался, когда передъ его закусочной экипажъ остановился, и баринъ его въ трактиръ чай пить пригласилъ. Но подумалъ, должно-быть, что какія-нибудь темныя дѣла, и согласился. Пили мы съ нимъ чай, смотрѣлъ я на это лицо, и съ интересомъ смотрѣлъ. Особенно, когда онъ отъ чаю вспотѣлъ. Напоминалъ ему, кто я, какую

имѣлъ съ нимъ коммерцію. Онъ отвѣчалъ: „Какъ же-съ не помнить? Помню!“ Но, видимо, ничего не помнилъ. Мало ли нашего брата у него въ рукахъ перебывало! Разговоры же мои считалъ „подходцемъ“. Когда я у него про Петьку спросилъ, онъ обезпокоился, нагнулся черезъ столъ и спросилъ: „Вы не изъ сыскной ли полиціи?“ Вижу, что никакого толка отъ него не добьешься, я ему и брякнулъ: „А вѣдь знаете, Петръ Сидоровичъ, я васъ тогда-то вотъ и при такихъ-то обстоятельствахъ вѣдь задушить хотѣлъ!“ Петръ Сидоровичъ допилъ чашку, опрокинулъ, положилъ на донышко обгрызокъ сахара и сказалъ: „Все можетъ быть-съ!“ Поблагодарилъ за чай и за сахаръ, и мы ушли изъ трактира. Онъ, очевидно, и про самое происшествіе забылъ. Мало ли съ нимъ чего за это время не перебывало!

Да и кто бы подумалъ при взглядѣ на этого солиднаго, на этого достойнаго человѣка, что, не случись посторонняго обстоятельства, не войди кто-то,— онъ былъ бы, по молодости, „звѣрскимъ, безчеловѣчнымъ убійцей“.

Я могъ бы привести въ примѣръ другого, очень извѣстнаго теперь и симпатичнѣйшаго дѣятеля, который тоже въ трудныхъ обстоятельствахъ надумалъ и чуть-чуть не совершилъ преступленія.

Цѣлою шайкой. Съ товарищами.

Какъ онъ разсказывалъ мнѣ,—зная, что я интересуюсь „преступниками-подростками“,—тоже съ разрѣшеніемъ пользоваться его „случаемъ“,—онъ надумалъ ограбить одного очень извѣстнаго въ Москвѣ дѣльца, про котораго онъ зналъ такое дѣяніе, за которое можно проѣхаться и по владимиркѣ.

Предполагалось сдѣлать такъ: явиться всей бандой, потребовать открыть кассу, взять, „сколько захотятъ“, и, чтобъ не сопротивлялся и не звалъ на помощь, пригрозить:

— А такое-то дѣяніе помнишь? Откроемъ, — самъ пойдешь въ Сибирь. Молчи!

Дѣяніе еще погнуснѣе покушенія на убійство Петра Сидоровича.

Но во всѣхъ этихъ предварительныхъ разговорахъ „шайки грабителей“, не разсуждали ни о гнусности поступка, ни даже объ его результатахъ, ни о томъ,— сколько они хотятъ взять денегъ, ни о томъ, что съ этими деньгами сдѣлаютъ.

Всѣ представляли себѣ тотъ моментъ, когда дѣлецъ, испуганный, потрясенный, „блѣдный, какъ полотно“,— непремѣнно „блѣдный какъ полотно“, — дрожащими руками,—непремѣнно „дрожащими руками“,—подастъ ключъ:

— Берите!

Какъ онъ скажетъ это съ покорностью, со страхомъ.

Рисовалась „картина“ насилія, могущества ихъ, безпомощности жертвы

Этотъ планъ обсуждался мѣсяцъ! Вотъ какое заранѣе обдуманное намѣреніе! И мѣсяцъ „обдумывалась“ все только „картина“

Узнали, когда дѣлецъ бываетъ дома, когда онъ одинъ,—но когда „шайка“ дошла въ назначенный день до его дома, всѣ участники „сбрендили“ и объявили иниціатору:

— Иди одинъ. А мы тебя здѣсь покараулимъ. Это, знаешь, тоже очень важно.

Такъ преступленіе и не состоялось.

17-лѣтній тогда „составитель шайки“ теперь, какъ я уже говорилъ, видный дѣятель, пользующійся симпатіями. А изо всѣхъ 16—18-лѣтнихъ „бандитовъ“ вышли честные, скромные труженики, мирные и добрые отцы семействъ...

Въ преступленіи подростковъ много фантазіи, а не злой воли. Больше молодой глупости, чѣмъ испорченности.

И каторга для нихъ не мѣсто.

Если мы считаемъ несправедливымъ подвергать ихъ смерти физической, то за что же подвергать смерти нравственной?

Каторга, — хоть и страшно рѣдки исключенія, — но все же не всегда смерть для человѣка сложившагося.

Но для человѣка, который долженъ въ ней еще „складываться“, „формироваться“, это нравственная смерть непремѣнная.

Юноша, въ опасномъ возрастѣ „поддавшійся“ фантазіи, жизни не вѣдающій еще, не знающій, начинаетъ знакомиться съ тѣмъ, что такое жизнь, по каторгѣ.

Тюрьма—теплый уголъ, казенные хлѣба и карточная игра. Ограбленіе — цѣль, ради которой можно совершать убійства: „Потому, есть изъ-за чего“. Единственная надежда въ жизни — „фартъ“, счастье, удача.

И сахалинскій опыть научитъ васъ, что самые опасные враги общества, самые ужасные, звѣрскіе убійцы выходятъ впослѣдствіи изъ людей, попавшихъ на Сахалинъ юношами и въ тюрьмѣ „сформировавшихся“.

Вдумайтесь въ эти „преступленія подростковъ“ и рѣшите:

— Дѣйствительно ли юноша, впавшій въ преступленіе, хотя бы и тяжкое, такой ужъ закоренѣлый преступникъ, что мы имѣемъ право нравственно казнить его смертью?

И что въ ихъ преступленіяхъ надо приписать злой волѣ, а что просто „опасному возрасту“?

Дѣтская проституція.

I.

Мною получено слѣдующее письмо:

„Милостивый Государь!

„Сообщенная вами трагическая исторія одиннадцатилѣтней дѣвочки Ирины Гуртовенко заставитъ многихъ призадуматься, и тѣ немногія строки, которыя вы посвятили этой исторіи, намъ кажется, не пропадутъ даромъ. Можно надѣяться, что найдутся люди, которые не откажутся прійти на помощь несчастной дѣвочкѣ, нужно только призвать на эту помощь, и намъ кажется, что вы можете это исполнить. Мы же со своей стороны собрали для начала добраго дѣла посылаемые вамъ при этомъ 10 рублей и просимъ васъ распорядиться ими на пользу и спасеніе этой несчастной и невольной преступницы. Ваши читатели. Г. Дубоссары. 21-го октября".

Это обязывало меня заняться судьбой несчастной дѣвочки.

Исполнить это было, однако, не такъ-то легко.

У мирового судьи свѣдѣнія краткія, сбивчивыя и невѣрныя.

Прасковья Гуртовенко приговорена на 3 недѣли Полиція осталась приговоромъ недовольна и пере

носитъ дѣло въ съѣздъ. Прасковья Гуртовенко не имѣла опредѣленнаго мѣста жительства. Ея дочь послѣ суда, будто бы, была отправлена въ пріютъ для неимущихъ, откуда ее мать взяла назадъ.

Гдѣ теперь и та и другая — неизвѣстно.

Послѣ нѣкоторыхъ усилій и поисковъ мнѣ удалось, однако, разыскать сначала мать, а потомъ дочь.

Мать я нашелъ въ одномъ изъ ночлежныхъ пріютовъ около Толкучаго рынка.

* * *

Направо—винная лавка, налѣво — какая-то пивная, посрединѣ—входъ въ ночлежный домъ, извѣстный подъ названіемъ „Аронки“.

9 часовъ вечера. Ночлежники и ночлежницы всѣ въ сборѣ. „Самое время“.

Вы входите въ женское отдѣленіе.

Воздухъ съ запахомъ виннаго перегара и чего-то прѣлаго.

Ночлежницы засыпаютъ. То здѣсь, то тамъ слышится катаральный, типичный запойный кашель.

Мы проходимъ между рядами ночлежницъ, спящихъ на какихъ-то мѣшкахъ, замѣняющихъ имъ матрацы. У кого башмаки, тѣ спятъ въ башмакахъ, изъ предосторожности, чтобъ ночью не украли.

На веревкахъ развѣшено и сушится какое-то отвратительное тряпье.

Какая-то женщина бредитъ во снѣ:

— Пойди на кухню... Перекипѣло все...

Должно-быть, кухарка, „сбившаяся съ толку“ и попавшая сюда.

Вотъ въ корзинѣ маленькій грудной ребенокъ.

Ребенокъ не спитъ, старается выползти и наполовину свѣсился изъ корзины.

Рядомъ спитъ мать съ повязанной головою.

— Съ перепою она. Пьетъ шибко: мужъ у нея идетъ въ солдаты.

Между рядами, словно тѣнь, неровной, шатающейся походкой пробирается опухшая съ отекшимъ отъ пьянства лицомъ женщина.

— Чего бродишь, окаянная?!

— О Господи, Боже мой!—бормочетъ пьяная баба и больше по инстинкту, чѣмъ сознавая что-нибудь, пробирается къ своему мѣсту. Она вся дрожитъ, ее бьетъ лихорадка,—типичное лихорадочное состояніе алкоголиковъ.

— Прасковья Гуртовенко! Прасковья Гуртовенко!

По пятому громкому оклику на одномъ изъ мѣшковъ что-то зашевелилось. Раздался писк ребенка.

И поднялась женщина, одѣтая въ рубище.

— Я Прасковья. Чего надоть?

На „матрацѣ“, среди лохмотьевъ, лежитъ анемичная, малокровная, блѣдная, словно восковая, трехлѣтняя дѣвочка, ея вторая дочь.

— А гдѣ твоя другая дочь, Ирина?

Не знаю почему, но мнѣ вспоминается почему-то библейскій вопросъ: „Каинъ, гдѣ братъ твой Авель?“

— А я почемъ знаю! Нешто ее усторожишь! Пошла, должно, на Молдаванку къ теткѣ, тамъ и заночуетъ!

Чтобъ не безпокоить другихъ ночлежницъ, мы вызываемъ ее въ коридоръ.

Гуртовенко-мать типичная представительница „потерянной женщины“ ночлежныхъ домовъ.

Наружность мегеры, умѣющей, когда нужно, прикинуться „казанской сиротой“

Она три года, какъ овдовѣла, имѣетъ „друга сердца“, ночлежника, ночующаго здѣсь же, въ этомъ же пріютѣ. Пьянствуетъ, въ пьяномъ видѣ бьетъ свою 11-лѣтнюю дочь Ирину и трехлѣтнюю Елену. Заставляетъ Ирину ходить просить милостыню, при чемъ „для жалости“ даетъ ей трехлѣтнюю сестренку. И два года тому назадъ заставила Ирину промышлять своимъ дѣтскимъ тѣломъ. Ирина приноситъ, когда 30, когда 40 копеекъ. И если приноситъ мало—Прасковья ее бьетъ.

— Тебя приговорили на 3 недѣли?

— На двѣ!

Несчастная даже не знаетъ, на сколько ее приговорили.

— Ты заставляешь заниматься свою дочь нехорошимъ дѣломъ?

— И-и, что вы? Это все дѣвчонки наплели, наговорили! Ребенокъ еще махонькій! Гдѣ ей! Наплели на меня.

— Что же, твоя дочь честная дѣвочка?

— Извѣстно, еще махонькая!

— Буде врать-то,—осаживаетъ ее одинъ изъ проходящихъ мимо ночлежниковъ, прислушавшійся къ разговору.

Гуртовенко-мать слегка конфузится.

— Это вѣрно... Въ прошломъ году случилось съ ней это несчастье... Такъ я вотъ какими слезами тогда плакала.

Гуртовенко показываетъ на пальцѣ, какими слезами она „тогда“ плакала. Слезы величиной въ полпальца

— А чтобъ теперь дѣвочка этакими вещами займалась, ничего этого нѣтъ. Наплели!

Но тутъ въ разговоръ вступается и все дѣло разъясняетъ „Васька Малый“.

„Васька Малый“—дѣтина, косая сажень въ плечахъ. Красивый, рослый, здоровенный, балагуръ и весельчакъ.

Это человѣкъ съ прошлымъ. Судился.

— Сколько, во всей точности не помню. Но что пять разовъ, это—вѣрно.

Лишенъ правъ за грабежъ, живетъ по ночлежнымъ пріютамъ и, по его словамъ, „работаетъ“

Но что у Васьки Малаго называется „работать“—разбирать не станемъ.

Человѣкъ здѣсь все и вся знающій.

Онъ сразу разъясняетъ споръ.

— Балуетъ у нея дѣвчонка! Это вѣрно, что балуетъ! Не признается только, вашескородіе! А балуетъ! Это вамъ въ другихъ ночлежныхъ пріютахъ ихъ поискать надо. Здѣсь не ночуютъ теперь, боятся, недавно облава была. Въ другихъ онѣ всѣ.

И Васька Малый перечисляетъ ночлежные дома.

— Тамъ много ихъ есть. Разнаго возраста. Этакія вотъ, этакія, этакія...

Васька Малый съ улыбкой показываетъ отъ полу все ниже и ниже.

Вы отступаете съ нѣкоторымъ ужасомъ.

Да вѣдь онъ говоритъ о 8-лѣтнихъ дѣвочкахъ.

Неужели это правда?

— Будьте спокойны-съ?—смѣется Васька Малый.

Идемъ по ночлежнымъ домамъ, отыскивать эти жертвы человѣческаго грѣха и преступленія.

* * *

Обойдя нѣсколько ночлежныхъ домовъ, мы находимъ ихъ, наконецъ, въ одномъ пріютѣ.

На сегодняшнюю ночь онѣ скучились здѣсь всѣ,—несчастныя подруги Ирины Гуртовенко по ремеслу.

Дѣвочки въ возрастѣ отъ 10 до 14 лѣтъ.

Отъ 10 до 14, но не забывайте, что онѣ занимаются этой профессіей уже по 2 года и больше.

Передъ нами тотъ уголокъ ада, который Данте назвалъ „злой ямой".

Передъ нами „злая яма" Одессы, гдѣ гибнутъ и нравственно и физически дѣти.

Какъ же дошли они до „жизни такой".

* * *

Ирину Гуртовенко съ девятилѣтняго возраста начала посылать мать.

А вотъ Софья, русская, 14 лѣтъ, жертва семейныхъ неурядицъ.

Я не называю ея фамиліи, потому что ея отецъ служитъ и „имѣетъ мѣсто" въ Одессѣ.

По ея словамъ, она—жертва мачехи.

Отецъ женился на другой, мачеха ее не взлюбила и стала „наговаривать". Отецъ, послушавшись наговоровъ, выгналъ ее изъ дома, отказываетъ въ самой ничтожной помощи.

Своимъ ужаснымъ ремесломъ она начала заниматься изъ-за нужды только съ января или февраля этого года.

Мѣсто ея прогулокъ—Соборная площадь и Дерибасовская улица.

Если бы при чтеніи этихъ строкъ у отца явилось желаніе, пока еще, быть-можетъ, не поздно, спасти

свою несчастную дочь,—онъ можетъ найти ее въ пріютѣ „Маіорки“, около Толкучаго рынка.

* * *

Итѣ Боксерманъ лѣтъ десять.

Изъ нихъ два она уже извѣстна, какъ постоянная обитательница ночлежныхъ пріютовъ,—и годъ тому назадъ вступила на тотъ же путь, по которому идутъ ея подруги.

Итого— восьми лѣтъ.

Отецъ у нея умеръ давно. Мать служила на мѣстѣ, прислугой, а потомъ занялась мелкой торговлей.

Ита бѣжала отъ матери, ее соблазнила подруга Энта Мехеръ, тогда 11-лѣтняя дѣвочка:

— Будемъ воровать, гулять!

Паденіе этого ребенка произошло въ Ботаническомъ саду.

Ита переживаетъ первый періодъ своего паденія.

Кромѣ того, проситъ милостыню.

На заработанныя „такимъ“ образомъ деньги она живетъ сама и отдаетъ часть своему „другу сердца“ Лейбѣ Дрогинскому, двѣнадцатилѣтнему мальчику, живущему на ея средства.

Ее сажали въ пріютъ для неимущихъ, но она бѣжала.

Ее поймали, но въ концѣ концовъ „накрутили уши“ и выгнали: эта 10-лѣтняя дѣвочка портила другихъ.

— Это она при васъ такъ присмирѣла, а то такъ ругается, что ужасъ!

Эта 10-лѣтняя дѣвочка разсказываетъ про своихъ подругъ „все“, все понимая.

— О, это будущая „Золотая ручка!“—съ улыбкой киваетъ на нее содержатель ночлежнаго дома.

Эта десятилѣтняя дѣвочка, годъ уже промышляющая развратомъ, держащая на свои средства „друга сердца“, поражаетъ своимъ раннимъ развитіемъ.

Передъ вами бойкая, живая, умная и даже остроумная дѣвочка.

Она не безъ юмора показываетъ, какъ ея подруги воруютъ лакомства „изъ-подъ шали“, какъ онѣ носятъ „шлейфъ“, гуляя по Дерибасовской.

И посмотрите, какой завистью, какой дѣтской жадностью къ гостинцамъ разгораются ея глаза, когда она говоритъ про Энту Мехеръ, что та:

— Покупаетъ себѣ лакомства, пирожное, купила жареную гуску и съѣла!

Передъ вами ребенокъ, маленькій ребенокъ съ рѣчами старой, прошедшей огонь и воду, кокотки.

* * *

Она спокойно говоритъ вещи, заставляющія краснѣть видавшаго виды человѣка.

Я не вѣрилъ своимъ глазамъ, своимъ ушамъ.

Мнѣ вспоминался сонъ, который видѣлъ передъ самоубійствомъ Свидригайловъ въ „Преступленіи и наказаніи“.

Вы помните этотъ страшный сонъ?

Свидригайлову снится, что онъ нашелъ ребенка, маленькую дѣвочку. И вдругъ эта дѣвочка, этотъ ребенокъ улыбается ему улыбкой кокотки, онъ читаетъ слѣды разврата на лицѣ этого ребенка... и просыпается въ ужасѣ.

Мнѣ казалось, что я вижу тоже страшный сонъ, что я вотъ-вотъ проснусь въ ужасѣ, въ холодномъ поту.

Но этотъ спертый воздухъ, эти дѣти, кивающія головой, поддакивающія разсказамъ Иты Боксерманъ.

Эта Энта Мехеръ, очевидно, „львица“ среди несчастныхъ дѣтей!

* * *

Энтѣ Мехеръ „уже“ 13 лѣтъ.

Ея мать—воровка.

— Братъ тоже былъ воромъ, а теперь торгуетъ лимонами.

Она говоритъ это „воровка“, „воръ“, точно такъ же, какъ мы сказали бы:

— Мой братъ—инженеръ, докторъ, адвокатъ, журналистъ.

Это не ругательное слово, а просто точное опредѣленіе профессіи.

Она росла у тетки, торгующей на Привозѣ, гдѣ и пала.

На Энту здѣсь смотрятъ съ завистью. Энта смотритъ на другихъ свысока.

Она „зарабатываетъ“ рубля четыре въ день.

За нею числятся подвиги: изъ-за нея одинъ господинъ, будто бы, даже бросилъ жену (???).

Конечно, Энта преувеличиваетъ и вретъ, но вы видите, чѣмъ эти дѣти гордятся.

Энта—самая хорошенькая во всей этой „злой ямѣ“. У нея красивое лицо и совсѣмъ не дѣтскій взглядъ.

— Энта бѣлится, румянится и пудрится! — сплетничаетъ про нее Ита Боксерманъ.

— А ты не румянишься, не пудришься? — уличаетъ ее Энта.

И десятилѣтняя дѣвочка должна замолчать, потому что она тоже и бѣлится и румянится, отправляясь на „промыселъ“.

Энта „живетъ хорошо“.

Ночуетъ по ночлежнымъ домамъ, но:

— Обѣдаетъ по рестораціямъ! Покупаетъ себѣ лакомствъ, пирожныхъ, гостинцевъ, всего, всего! Вчера купила за 2 рубля жареную гуску и съѣла! — глотая слюнки, объясняютъ подруги.

Энта — модница: она и теперь, потревоженная среди сна, одѣвается и надѣваетъ на себя платье съ „кружевами“.

— А одинъ разъ, — объясняетъ содержатель ночлежнаго дома, — она пришла въ шляпкѣ, въ перчаткахъ, новое платье. Ну, совсѣмъ какъ ходятъ порядочныя дѣвушки... съ Дерибасовской улицы! — добавляетъ онъ, чтобъ поняли, что на его языкѣ называется „порядочностью“.

Кромѣ своей „профессіи“, Энта занимается еще и мелкимъ воровствомъ:

— Очень ловко воруетъ изъ-подъ шали!

— Ита — ея ученица.

И не прочь заняться „устройствомъ“ другихъ дѣвочекъ, за что беретъ съ нихъ половину „заработка“, и притомъ „немедленно“.

Все это даетъ ей возможность не только „хорошо жить“ самой, но и содержать на свои средства „друга сердца“ — шестнадцатилѣтняго Бориску, ночлежника этого же пріюта.

Такова Энта Мехеръ, имѣющая 13 лѣтъ отроду.

* * *

Ѳедосьи Румянцевой, 15 лѣтъ, и Хаи Бурштейнъ, 13 лѣтъ, нѣтъ сейчасъ въ этой компаніи.

Ѳедосья Румянцева содержится въ настоящее время въ тюрьмѣ: ее приговорили на полтора мѣсяца за кражу.

— Оболгали ее!

Подруги увѣряютъ, что ее „подъ тюрьму подвели“ онѣ изъ-за конкуренціи.

Судьба Ѳедосьи такова.

Ея мать живетъ съ „другомъ сердца“ и выгнала дочь за скверное поведеніе.

Въ ряды дѣтей, занимающихся ужасной профессіей, она попала съ этого лѣта.

13-лѣтней Хаи Бурштейнъ тоже нѣтъ сейчасъ здѣсь.

Она у матери.

Которая „заработанныя“ дочерью деньги „вноситъ въ ссудо-сберегательную кассу!“

На эту дорогу 13-лѣтняя дѣвочка вступила всего полгода, но если вы здѣсь произнесете ея уличную кличку, ея „nomme de la guerre“ — „Ѳенька“, — это имя вызоветъ общее уваженіе.

Ѳенька ребенокъ „съ головой“.

Она, кромѣ всего прочаго, воруетъ, — и очень прибыльно воруетъ:

— Недавно еще украла хорошую шаль, стоящую 30 рублей.

Она занимается и перепродажей своимъ подругамъ старыхъ вещей „въ разсрочку“.

При ней состоятъ по найму двое тѣлохранителей-мальчишекъ, которымъ она платитъ за вечеръ по 50 копеекъ.

Ихъ обязанность привлекать къ ней вниманіе прохожихъ, а въ случаѣ если кто-нибудь задумаетъ отправить ее въ участокъ, плакать и кричать:

— Дяденька, миленькій, за что? Это моя сестра, мы съ ней гуляемъ!

Съ Энтой Ѳенька конкурентки, соперницы, враги, но и невольные друзья и союзницы, потому что онѣ составляютъ вдвоемъ „аристократію злой ямы“.

* * *

Я не упоминаю ни о какой-то косой, уродливой дѣвочкѣ, ни о несчастной „Машкѣ“ съ совершенно лысой головой.

Не упоминаю потому, что онѣ сравнительно уже „старухи“, — имъ 16-й годъ. Не упоминаю объ одной изъ коноводчицъ „злой ямы“, которой уже „шишнадцать, семнадцатый“, и которая на мой вопросъ, занимается ли она позорнымъ ремесломъ, съ гордостью отвѣтила:

— О, да!

Такова „злая яма“.

* * *

Мнѣ остается еще упомянуть о „сутенерахъ“ этихъ 10-ти, 12-ти, 14-лѣтнихъ „падшихъ созданій“.

О 15-лѣтнемъ Анисимѣ Молчановѣ, бывшемъ половымъ въ трактирѣ.

О Лейбѣ Дрогинскомъ, 12-лѣтнемъ мальчикѣ, который проситъ милостыню и живетъ на средства десятилѣтней Иты.

О Василіи Волковѣ, который нанимается за 50 к. „привлекать прохожихъ“. Отецъ у него умеръ, мать занимается черной поденной работой.

Наконецъ, о Борискѣ Ясиновскомъ, 16-лѣтнемъ мальчикѣ, состоящемъ „при Энтѣ“, сынѣ домашняго учителя, офиціально занимающемся „продажей ножей и прочаго“.

Вотъ 12 — 15 — 16-лѣтніе кавалеры, живущіе на средства 10 — 12 — 14-лѣтнихъ „женщинъ“.

* * *

Ихъ разговоры, ихъ знанья.

Я увѣренъ, что Маргарита Готье умерла, не зная половины того, что знаетъ 10-лѣтняя Ита!

Старая, отекшая отъ пьянства развратница, настоящая мегера, отплевывалась, когда дѣти разсказывали подробности и „тайны“ своей профессіи.

И на вопросъ:

— Кто же эти преступники, пользующіеся услугами этихъ дѣтей?

Я не обинуясь отвѣчу:

— Это люди изъ интеллигенціи.

„Простому народу“ не можетъ въ голову прійти то, что знаютъ эти дѣти.

Среди лицъ, посягающихъ на дѣтей, одно изъ первыхъ мѣстъ занимаютъ старики.

Когда этимъ дѣтямъ не на что ночевать, они идутъ къ „дѣдушкѣ“, который даетъ имъ ночлегъ и гостинцевъ въ награду за ту оргію, которую онъ устраиваетъ.

Такихъ „дѣдушекъ“ у нихъ есть нѣсколько.

У нихъ есть постоянные кліэнты, лица, судя по всему, принадлежащія къ „порядочнымъ“ людямъ.

И нѣкоторые пользуются среди этихъ несчастныхъ громкой извѣстностью.

— Она знаетъ „Мишку“! Она знаетъ „Мишку“!— насмѣшливо кричала Энта, когда одна изъ этихъ несчастныхъ похвасталась знакомствомъ съ „Мишкой“

И она произносила это тономъ шансонетной пѣвицы, говорящей о какомъ-нибудь богачѣ, завсегдатаѣ кафешантанныхъ кулисъ.

* * *

Ирину Гуртовенко я могъ увидѣть только наутро.

Полузамерзшій ребенокъ въ какомъ-то рваньѣ.

Испитое лицо, темные круги подъ глазами разсказываютъ ея повѣсть лучше, чѣмъ она сама.

Какъ она попала на этотъ ужасный путь?

Это было 2 года тому назадъ, когда ей было 9 лѣтъ.

Съ тѣхъ поръ... съ тѣхъ поръ она:

— Только проситъ милостыньку, дурного ничего не дѣлаетъ, мамка ее не бьетъ, мамка ничего не пьетъ и т. д.

Бѣдному ребенку, очевидно, досталось за то откровенное признаніе, въ результатѣ котораго „мамку“ приговорили „на 3 недѣли“, и теперь она „умѣетъ молчать“.

— Въ пріютъ послѣ суда отправляли?

— Нѣтъ, не отправляли. До суда въ пріютѣ была, но мамка оттуда взяла.

А тутъ же рядомъ стоящая „мать“ дѣлаетъ слезливое лицо, охаетъ, крестится:

— Ежели бъ ее опредѣлить куда, ни за что бы не взяла.

* * *

Вотъ вамъ вся судьба Ирины Гуртовенко.

Она сама, ея мать, обстановка, въ которой она живетъ, атмосфера, которой она дышитъ, среда, которая ее окружаетъ, вотъ вамъ ея прошлое, по которому нетрудно догадаться о будущемъ.

Что же дѣлать?

Десятью рублями, которые мнѣ прислали добрые люди изъ Дубоссаръ, можно только дать возмож-

ность Гуртовенко-матери нѣсколько лишнихъ разъ напиться.

Тысячью рублей тоже не поможешь.

Если вы отдадите дѣвочку въ пріютъ,—мать придетъ и возьметъ ее, потому что это ея „право“.

Что же будетъ съ этимъ ребенкомъ, съ другой трехлѣтней дѣвочкой, когда она достигнетъ того дѣтскаго возраста, въ которомъ, по мнѣнію Гуртовенко-матери, можно и должно заниматься развратомъ?

Прежде всего слѣдуетъ лишить эту мегеру ея правъ на дѣтей

Мировой съѣздъ, куда переходитъ это дѣло, долженъ признать его неподсуднымъ себѣ.

Преступленіе Гуртовенко-матери предусмотрѣно 993, 998 и 1588 ст. уложенія о наказаніяхъ.

Только въ силу этихъ статей можно лишить эту мегеру „правъ“ на ея дѣтей.

Потому что только въ силу 993 ст. она будетъ лишена „навсегда права имѣть за малолѣтними и несовершеннолѣтними надзоръ“.

А тогда общество должно позаботиться объ участи Гуртовенко-дочерей.

Должно, обязано, ибо выродки изъ нашего же общества губятъ этихъ дѣтей.

Развѣ совѣсть не шепчетъ вамъ чего-то, когда вы читаете это описаніе?

Развѣ эти „падшія дѣти“ не заставляютъ сжиматься ваше сердце?

Если нѣтъ, значитъ я только не сумѣлъ описать того, что видѣлъ.

II.

Наша старая знакомая.

Прасковья Гуртовенко.

Окружный судъ приговорилъ ее къ 4 мѣсяцамъ тюремнаго заключенія,—и въ этомъ приговорѣ отчасти виноватъ я.

Годъ тому назадъ эту самую Прасковью Гуртовенко мировой судья приговорилъ за торговлю родной дочерью на 1 мѣсяцъ.

Я протестовалъ противъ этого приговора, противъ „мирового суда“ надъ торговкой своей дочерью и указывалъ, что ее должны судить окружнымъ судомъ.

Это бываетъ—увы!—рѣдко, — на статью обратили, очевидно, вниманіе гдѣ слѣдуетъ, и дѣло Прасковьи Гуртовенко перенесли въ окружный судъ.

Конечно, не усиленія наказанія для этой нищей добивался я. Черезъ 4 мѣсяца она выйдетъ изъ тюрьмы еще худшей, чѣмъ туда войдетъ.

Но это былъ единственный способъ лишить эту мать правъ на ея несчастную дочь.

Дѣвочка погибала, потому что въ какой бы пріютъ ее ни помѣщали, являлась ея мать, на законномъ основаніи брала ее оттуда и посылала заниматься развратомъ.

Теперь приговоромъ окружнаго суда Прасковья Гуртовенко осуждена на 4 мѣсяца и лишена права „воспитывать“ дѣтей, т.-е. въ данномъ случаѣ ея ужасныхъ правъ, — что гораздо важнѣе.

Этотъ случай съ Гуртовенко заставилъ меня заняться вопросомъ о „дѣтской проституціи“; я обошелъ

притоны, гдѣ ютится этотъ ужасъ, и въ результатѣ получилась самая страшная и отвратительная картина, которая когда-либо появлялась изъ-подъ моего пера.

Эта статья обратила на себя вниманіе не одной Одессы, и ко мнѣ отовсюду посыпались письма, требовавшія именъ главныхъ преступниковъ—покупателей дѣтей.

„Ну, хорошо! — писали мнѣ. — Этихъ несчастныхъ дѣтей разсуютъ по пріютамъ. Ихъ голодныхъ родителей накажутъ. А эти главные преступники, соблазнявшіе голодныхъ на такое страшное преступленіе, покупавшіе у родителей и растлевавшіе дѣтей, — неужели они останутся безнаказанными?“

Въ этихъ письмахъ слышался вопль общественной совѣсти, раненой такой страшной, такой возмутительной несправедливостью.

* * *

То же и теперь.

Третьяго дня судили Прасковью Гуртовенко, а вчера я получилъ письмо отъ одной читательницы:

„Я помню эту Прасковью Гуртовенко по вашимъ описаніямъ, — пишетъ она, — помню, какъ вы, думая встрѣтить „мегеру“, встрѣтили голодную нищую. Нищая наказана, но тѣ, кто соблазнялъ голодную своими проклятыми деньгами преступать законы Божескіе и человѣческіе, продавать свою дочь,—эти преступники неужели останутся не раскрытыми, безнаказанными?“

Увы! — я долженъ отвѣтить на это:

— Да.

Это ужасно, это невѣроятно, но это такъ.

* * *

Законъ, если можно такъ выразиться, стоитъ на чрезвычайно законной почвѣ въ этомъ вопросѣ объ оскорбленіи женской чести.

Онъ не хочетъ быть plus royaliste, que le roi même.

Онъ не хочетъ вступаться за честь потерпѣвшей тамъ, гдѣ сама потерпѣвшая, или, если она малолѣтняя, ея родители, опекуны или родственники не видятъ безчестія.

Законъ говоритъ:

— Будь самъ на стражѣ своей чести, какъ ты это понимаешь. Мы не хотимъ позорить тебя еще больше оглашеніемъ твоего безчестія. Если твоя честь поругана, приди и заяви. Тогда мы будемъ преслѣдовать обидчика, и преслѣдовать безпощадно: если бы ты ужъ послѣ этого заявленія и сказала намъ, что помирилась съ обидчикомъ, мы все-таки не откажемся отъ его преслѣдованія!

Но по отношенію къ этимъ дѣтямъ и къ этимъ родителямъ такая точка зрѣнія вѣетъ холодомъ и безсердечіемъ.

Понятія о чести различны. Для дѣвочки ночлежнаго дома „безчестіе“ состоитъ въ томъ, что у нея нѣтъ пряника, когда у всѣхъ другихъ подругъ есть. И величайшая „честь“ въ томъ, что у нея есть пряникъ, когда у другихъ нѣтъ.

Если эта дѣвочка ходитъ въ новомъ платкѣ, никто изъ ея родственниковъ въ ночлежномъ домѣ не усмотритъ ни въ чемъ безчестія:

— Какое жъ безчестіе, ежели она вонъ какъ ходитъ, не хуже, — еще лучше другихъ! Никакого безчестія! Совсѣмъ даже напротивъ!

Какихъ понятій о *чести* требовать отъ родителей, продающихъ своихъ дѣтей?

Не кажется ли это обидной насмѣшкой?

Голодъ — плохой другъ чести. Голодъ туманитъ умъ; когда человѣкъ умираетъ отъ голода, онъ думаетъ только объ ѣдѣ, и ему нечѣмъ думать о чести.

Когда ему въ эту минуту даютъ кусокъ хлѣба, онъ мирится со всякимъ безчестіемъ.

И въ руки этихъ-то людей вы отдаете иниціативу преслѣдованія подлыхъ развратителей дѣтей?

Вы хотите, чтобъ голодные думали не о кускѣ хлѣба, а объ интересахъ общественной нравственности!

Случаются изумительно курьезныя вещи въ такихъ дѣлахъ.

Родители судятся за продажу дѣтей.

Дѣти на судѣ называютъ имя ихъ развратителя, разсказываютъ, какъ надъ ними совершили преступленіе.

Правосудіе уже предчувствуетъ побѣду:

— Онъ въ нашихъ рукахъ!

Родителей осуждаютъ, но и главный виновникъ не уйдетъ!

Но вдругъ послѣ приговора надъ родителями дѣти являются въ судъ и заявляютъ, что они не имѣютъ никакихъ претензій къ осквернителю ихъ тѣла и души.

Даже никакихъ основаній быть на него въ претензіи!

Что жъ, они лгали на судѣ? Отдайте виновныхъ въ лжесвидѣтельствѣ подъ судъ. Покупателя не было,— значитъ не было и продажи. За что же тогда осуждены родители?

Какъ это объяснить, наконецъ? Дѣти, у которыхъ посадили въ тюрьму родителей, думаютъ не о нихъ,

не о себѣ, что съ ними самими будетъ, а заботятся только о томъ, кто погубилъ и ихъ и ихъ родителей.

Неграмотныя дѣти узнаютъ всѣ тонкости уложенія о наказаніяхъ и устава уголовнаго судопроизводства и являются со своимъ заявленіемъ къ прокурору, зная, что подобныя обвиненія принадлежатъ къ числу частно-публичныхъ обвиненій!

Какъ тутъ не воскликнуть:

— Какъ все противоестественно въ этомъ противоестественномъ дѣлѣ!

И онъ безнаказанъ, такой преступникъ, человѣкъ безъ чести и совѣсти, не видящій для удовлетворенія своихъ грязныхъ капризовъ препятствій ни въ чемъ: ни въ родительской любви ни въ неприкосновенности дѣтскихъ тѣла и души.

* * *

Но законъ стоитъ не только на той сухой, холодной точкѣ зрѣнія, о которой я говорилъ. Онъ стоитъ еще и на точкѣ зрѣнія гуманной.

Допустимъ, что въ вашей семьѣ случилось это огромное несчастіе: ваша дочь подверглась насилію со стороны какого-нибудь негодяя.

Что вы сдѣлаете въ этомъ горѣ?

Конечно, не будете разглашать горя и позора. Конечно, постараетесь, чтобы ваша дочь, если возможно, не поняла того, что съ ней случилось, увезете ее куда-нибудь, чтобы ничто не напоминало ей объ этомъ ужасѣ. Примите всѣ мѣры къ тому, чтобы всякое воспоминаніе изгладилось изъ ея памяти, и этотъ ужасный случай казался ей потомъ неправдоподобнымъ кошмаромъ, приснившимся когда-то давно.

И вдругъ законъ взялъ бы и разгласилъ вашъ позоръ на весь міръ. Покрылъ бы имя вашей дочери незаслуженнымъ, но вѣчнымъ стыдомъ. Заставилъ бы ее разсказывать и закрѣплять въ своей памяти всѣ грязныя подробности отвратительнаго событія. Вмѣсто одного, создалъ бы два ужасныхъ воспоминанія въ ея жизни: воспоминаніе о томъ позорѣ и воспоминаніе о позорѣ на судѣ.

Но все это относится къ дѣтямъ состоятельныхъ родителей, только къ тѣмъ дѣтямъ, съ которыми несчастье приключилось случайно.

И вовсе не можетъ относиться къ дѣтямъ, которыхъ продавали ихъ родители, да еще систематически.

Вѣдь они уже давали на судѣ свои ужасныя показанія, когда судили ихъ родителей. Вѣдь ихъ имя ужъ покрыто стыдомъ.

Не вызывайте ихъ вторично, не заставляйте лишній разъ повторять то, что ужъ извѣстно, ограничьтесь прочтеніемъ ихъ показаній на первомъ процессѣ.

Вообще мы не понимаемъ вызова въ судъ дѣтей ни въ качествѣ свидѣтелей ни въ качествѣ обвиняемыхъ.

Ребенку не нужна эта торжественная обстановка суда для дачи правильныхъ показаній.

Ребенокъ такъ же боится и „дяди-слѣдователя“, какъ „дяденекъ-судей“. Онъ не понимаетъ разницы между ними.

Торжественная обстановка суда только запечатлѣваетъ въ картинныхъ образахъ передъ нимъ его позоръ.

Только помогаетъ памяти сохранить навсегда то, о чемъ бы лучше забыть.

— Но какъ устранить появленіе дѣтей передъ судомъ? Какъ сдѣлать такъ, чтобы можно было обойтись и безъ этого?

Это ужъ дѣло юристовъ. Зачѣмъ-нибудь они да существуютъ!

Но вѣдь нельзя же, чтобы люди безнаказанно развращали дѣтей только потому, что боятся лишній разъ напомнить дѣтямъ объ ихъ позорѣ.

Такая гуманная точка зрѣнія врядъ ли гуманна.

Наконецъ, въ чемъ еще большая порча дѣтей?

Въ томъ ли, что онъ увидитъ своего обидчика подъ судомъ и узнаетъ, что преступленіе наказывается, или въ томъ, что у него еще разъ купятъ честь, дадутъ денегъ, велятъ пойти къ прокурору и заявить, что „ничего этого не было“, и ребенокъ увидитъ ясно, что „за деньги все можно“.

Въ томъ, что онъ будетъ говорить страшную правду, или въ томъ, что онъ наймется лгать?

* * *

Трудно назвать преступленіе ужаснѣе,—и въ борьбѣ съ этимъ отвратительнымъ преступленіемъ,—покупкой у родителей ихъ дѣтей,—общество должно руководиться не только интересами нравственности, которая, скажутъ, условна, но и интересами общественной безопасности, о которой ужъ, кажется, безусловно нужно заботиться.

Если вы возьмете біографіи наиболѣе „знаменитыхъ“ преступницъ, то вы увидите, что большинство этихъ несчастныхъ слишкомъ рано начали быть женщинами.

Потерявъ честь и стыдъ, привыкнувъ къ позору, онѣ уже спокойнѣе шли на преступленіе, потому что имъ было нечего терять.

Въ нихъ пробудили новые инстинкты, ихъ пріучили къ новымъ удовольствіямъ, и онѣ шли охотнѣе на преступленіе въ жаждѣ этихъ порочныхъ наслажденій.

Многія изъ преступницъ, кончившія свою карьеру на гильотинѣ или въ каторгѣ, начали ее 10—12-лѣтними дѣвочками въ объятіяхъ грязнаго старика.

Раннее паденіе дѣлаетъ ихъ истеричками, невропатками, несчастнѣйшими изъ женщинъ.

Мы помнимъ отвѣтъ эксперта по одному такому дѣлу въ Москвѣ.

Его спросили:

— Чѣмъ грозитъ въ будущемъ двумъ пострадавшимъ дѣвочкамъ совершонное надъ ними преступленіе?

— Болѣзнью (онъ назвалъ имя болѣзни), благодаря которой они противъ воли не будутъ въ состояніи оставаться вѣрными, болѣзнью, которая никогда не позволитъ имъ быть матерями.

За что же эти два существа сдѣланы несчастными навсегда? За что онѣ обречены на такую ужасную, на такую позорную жизнь? За что онѣ обречены никогда не имѣть своего чистаго, честнаго угла? За что онѣ обречены мучиться всю жизнь своимъ позоромъ и покрывать стыдомъ и горемъ всякаго, кто ихъ полюбитъ? За что онѣ навсегда лишены права имѣть семью? За что лишены прекраснѣйшаго изъ чувствъ, лучшей изъ радостей,—радости быть матерью?

За что?

Почему остаются въ покоѣ и имѣютъ возможность и дальше творить зло, губить новыя жертвы, эти гнуснѣйшіе изъ преступниковъ, ради своихъ грязныхъ

прихотей разрушающіе семейныя узы, губящіе человѣческія жизни, награждающіе общество проститутками и преступницами?

Если они больны, эти люди, лѣчите ихъ, сажайте въ психіатрическія лѣчебницы, учреждайте опеку надъ ихъ личностью, но не давайте свободы ихъ грязному и отвратительному безумію, ихъ извращеннымъ инстинктамъ.

Если они здоровы и не побуждаются къ своимъ мерзкимъ дѣяніямъ никакимъ безумiемъ, — лишите ихъ возможности издѣваться надъ человѣческой жизнью и счастьемъ.

Такъ говоритъ общественная совѣсть, глубоко пораженная наказаніемъ однихъ и безнаказанностью другихъ, тягчайшихъ и главнѣйшихъ виновниковъ.

Во имя нравственности, во имя общественнаго блага и безопасности, во имя этихъ маленькихъ несчастныхъ дѣтей, иниціатива преслѣдованія грязныхъ развратителей должна быть изъ рукъ безчестныхъ, торгующихъ дѣтьми, отцовъ и матерей переdана въ единственныя надежныя руки закона.

Брошенныя дѣти.

— Вѣроятно, тоже что-нибудь филантропическое?

— Ну, вотъ! Ты всегда дурное подумаешь!

Изъ *Анны Карениной*.

Кому я завидую, это — барону О. О. Буксгевдену.

Въ Германіи, въ Швеціи, въ Италіи онъ видѣлъ, какъ филантропія приносила пользу несчастнымъ, испорченнымъ, брошеннымъ дѣтямъ.

Я пробовалъ два раза заниматься филантропіей,— и оба раза неудачно.

Въ первый разъ въ Москвѣ вдвоемъ — съ моимъ пріятелемъ.

Студенымъ октябрьскимъ вечеромъ мы ѣхали съ нимъ на извозчикѣ. Какъ вдругъ съ тротуара до насъ донеслись странные звуки.

Около тумбы лежалъ какой-то комъ, который гудѣлъ.

Мы сошли посмотрѣть, зажгли спичку.

Свернувшись въ комокъ, около тумбы лежалъ въ рубищѣ, „одѣтый въ дыры“, иззябшій, дрожавшій, не попадавшій зубъ на зубъ мальчикъ. Несчастный, съ испитымъ лицомъ. Въ одной калошѣ. Другая нога была босикомъ. Онъ гудѣлъ, дуя на посинѣвшія руки.

Мы взяли его на извозчика и отвезли къ пріятелю, человѣку семейному, на квартиру.

Домашніе моего пріятеля, конечно, приняли въ замерзшемъ мальчикѣ живѣйшее участіе. Его вымыли, накормили, одѣли.

И когда онъ былъ сытъ и совсѣмъ отогрѣлся — мы съ пріятелемъ приступили къ допросу.

Сколько ему было лѣтъ,—мальчикъ не зналъ и даже самому вопросу удивился. На видъ—лѣтъ шести-семи.

— Ты гдѣ же живешь?

Онъ смотрѣлъ на насъ съ удивленіемъ.

— Ну, прошлую ночь гдѣ ночевалъ?

— Прошлую? Въ тверской.

— А позапрошлую?

— Позапрошлую? Въ арбатской.

— А раньше?

— Лѣтомъ? Лѣтомъ — на кладбищѣ.

— Откуда жъ ты теперь?

— Теперь? Въ Дорогомилово ходилъ. Мнѣ тамъ калошу подарили.

— У тебя, что же, есть отецъ?

— Батька въ замкѣ сидитъ.

— А мать?

— Мамка стрѣляетъ.

Проситъ милостыню

— Настрѣляетъ и пропьетъ.

— Братья у тебя есть?

— Братъ — жуликъ.

— Сестра?

— Сестра...

Тутъ онъ кратко, точно и ясно однимъ словомъ опредѣлилъ, чѣмъ занимается его сестра.

И это безо всякаго цинизма. Онъ сказалъ „слово“ такъ, какъ мы говоримъ:

— Инженеръ... учительница... адвокатъ...

Совершенно дѣловое опредѣленіе профессіи. И только.

Оставалось только спросить у мальчика, у котораго отецъ живетъ „въ замкѣ“, насчетъ будущаго.

— Ты что же дѣлаешь?

— А такъ.

— Воруешь?

Онъ отвѣчалъ дѣловымъ тономъ:

— Нѣ. Я еще малъ. На тотъ годъ въ „форточники“ возьмутъ. А воровать, когда выросту.

Мы положили этого „опаснаго для общества человѣка“, несомнѣнно, будущаго вора, быть-можетъ — грабителя, кто знаетъ, даже убійцу съ цѣлью грабежа, — спать въ дворницкую

— Завтра позаботимся объ его судьбѣ! Устроимъ...

Наутро къ пріятелю явился дворникъ:

— Пожалте за сапоги и за стекло.

— Какъ такъ?

Дворникъ вышелъ на дежурство и заперъ спавшаго ребенка въ дворницкой. Мальчикъ проснулся, выбилъ стекло, стащилъ стоявшіе на виду около кровати сапоги и исчезъ.

Онъ разсуждалъ по-своему.

— Ежели сапоги стоятъ,—глупо было бы не украсть.

Когда я явился „устраивать судьбу“ мальчика, и пріятель разсказалъ мнѣ о происшествіи, мы, по русскому обычаю, занялись самобичеваньемъ.

— Вотъ мы всегда такъ! Начнемъ хорошо, а кончаемъ, Богъ знаетъ, какъ! Въ дворницкую, безъ при-

зора, ребенка положили спать?! А! Дѣлать, такъ ужъ дѣлай. Не могъ я положить его у себя въ квартирѣ?!

— Ну, онъ бы, вмѣсто сапогъ, часы сволокъ. Только вся и разница! — замѣтилъ я.

— Ты скептикъ! Молчи ужъ лучше!

Хотѣлъ бы я знать, гдѣ теперь этотъ мальчикъ?

Уже на Сахалинѣ или еще не на Сахалинѣ?

А мою совѣсть безпокоитъ одинъ вопросъ:

— А дѣйствительно, не удалось ли бы намъ спасти мальчика отъ этого, если бы мы не сдали его на храненіе дворнику?

Второй разъ я занялся филантропіей въ одномъ изъ южныхъ городовъ.

Въ мѣстныхъ газетахъ промелькнула замѣтка, что судилась какая-то баба-босячка: она не только просила милостыню съ малолѣтнею дочерью, но и торговала ею.

Бабу присудили за прошенье милостыни къ аресту.

А дѣвочка?

Дѣвочка такъ и останется у этой „матери“? И отбывъ свой срокъ, „мать“ опять начнетъ ею торговать попрежнему?

Да что жъ эта дѣвочка, исключенье, что ли? Не существуетъ ли цѣлаго промысла?

Я вооружился парой босяковъ, знавшихъ всѣ притоны какъ свои пять пальцевъ, и пошелъ съ ними по ночлежнымъ домамъ и трущобамъ

Я разыскалъ и узналъ такія вещи, что приходилось спрашивать себя:

— Да что это? Бредъ? Кошмаръ? Я сплю? Я съ ума сошелъ?

Долго послѣ этого я не могъ даже смотрѣть на дѣтей.

— Ребенокъ можетъ стать такимъ гадомъ?

Самая старая кокотка не можетъ разсказать о большихъ утонченностяхъ, о большихъ гнусностяхъ разврата, чѣмъ разсказывали восьми, даже семилѣтнія дѣти.

Въ этой области для нихъ ничего уже не было неизвѣстнаго.

Онѣ разсказывали мнѣ, моимъ босякамъ, какъ о дѣлѣ, подробно о всемъ, о старикахъ, о молодыхъ „дяденькахъ“, которые имъ даютъ „за это“ двугривенные, гривенники, иногда только копеечки.

Онѣ выросли въ трущобахъ и, считая, что это необходимо, имѣли каждая своего „хулигана.“

— Какъ большія

„Хулиганы“—тоже дѣти восьми, десяти лѣтъ, проѣдали вмѣстѣ съ ними на лакомствахъ добытыя деньги.

„Хулиганы“ ихъ охраняли и защищали.

Вдругъ какой-нибудь дяденька на улицѣ, въ отвѣтъ на предложеніе маленькой дѣвочки, крикнетъ:

— Ахъ, ты, дрянь! Полицейскій!

„Хулиганъ“, вьющійся около, моментально подбѣжитъ, зареветъ на всю улицу, соберетъ толпу.

— Дяденька къ моей сестрѣ пристаетъ! Гадости ей говоритъ! А не то,—полиціей грозится!

И толпа при видѣ плачущихъ дѣтей противъ самого же этого господина ополчится.

— Да она сама...

— Ребенокъ? Да развѣ ребенокъ можетъ такія вещи знать? Ахъ, господинъ...

При такихъ условіяхъ всякій сбѣжитъ, себя проклянетъ:

— Тфу! Въ какую грязную исторію попалъ!

То, что я узналъ, было такъ невѣроятно ужасно, что одному „голословному“ утвержденію никто бы не повѣрилъ:

— Выдумано. Прикрашено. Сгущены краски:

Какъ у насъ всегда говорится.

Я указалъ въ статьѣ имена несчастныхъ дѣвочекъ, трущобы, гдѣ онѣ ютятся.

— Не вѣрите—провѣрьте.

Какъ журналистъ, я могъ быть доволенъ успѣхомъ статьи.

Она была перепечатана чуть ли не во всѣхъ русскихъ газетахъ. Переведена во французскихъ, нѣмецкихъ, англійскихъ.

Какъ частный человѣкъ, я тоже былъ доволенъ.

Слава Богу, на этотъ разъ написалъ не безъ результата.

Дѣвочекъ всѣхъ изъ трущобы взяли и помѣстили въ пріютъ.

Спасены!

Прошло полмѣсяца,—и вдругъ въ пріютѣ, куда помѣстили дѣвочекъ, уголовное происшествіе.

Дѣвчонки кинулись на старика-смотрителя въ какомъ-то темномъ чуланѣ, накинули ему на голову шинель и хотѣли убить.

Къ счастью, у нихъ не было другого орудія, кромѣ перочинныхъ ножей.

Онѣ только искололи бѣднягу.

Испорченныя дѣти, не такъ ли? Тосковали по трущобамъ? Были, разумѣется, недовольны строгимъ пріютскимъ режимомъ?

Дѣло ясное.

Но самое нахожденіе смотрителя и дѣвочекъ въ темномъ чуланѣ показалось страннымъ.

Произвели разслѣдованіе, и оказалось, что смотритель, очевидно, впавшій въ старческій развратъ человѣкъ, „соблазнился“.

И все происшествіе объяснилось местью со стороны дѣтей:

— Дѣлаетъ съ нами то же, что и дяденьки на волѣ. А платить—не платитъ.

Вотъ и весь результатъ всѣхъ моихъ исканій и писаній!

Для чего я разсказываю это?

Только, чтобъ подѣлиться „горькимъ опытомъ“ съ тѣми великодушными людьми, которые сейчасъ такъ горячо взялись за святое дѣло спасенія отъ гибели несчастныхъ дѣтей.

Сколько горячихъ порывовъ остыло на моихъ глазахъ! Потому я и пишу.

Мнѣ хочется сказать этимъ великодушнымъ людямъ:

— Вы открываете пріюты. Но этимъ еще мало, этимъ еще ничего не сдѣлано. Если вы хотите, чтобы пріютъ приносилъ пользу, а не вредъ даже, ни на минуту ни на секунду и потомъ не оставляйте его безъ своего, безъ своего собственнаго призора. Не полагайтесь ни на кого.

Первое время всегда такъ и бываетъ. Первое время, а затѣмъ всѣ эти пріюты остаются на полное усмотрѣніе разныхъ смотрителей и смотрительницъ.

— Если вы хотите, чтобъ ваши пріюты приносили, дѣйствительно, пользу, не выпускайте ихъ не только первое, но и все время изъ своего непосредственнаго тщательнаго, полнаго, ежедневнаго наблюденія. Иначе

на смѣну вамъ, воодушевленнымъ, придутъ люди, люди лѣнивые, люди относящіеся къ дѣлу по-канцелярски, люди даже дурные. Если вы сами не будете, никому не довѣряя святого дѣла, вникать въ каждую мелочь, эти люди сумѣютъ убѣдить васъ, что „все обстоитъ благополучно“ И во что тогда превратится ваше доброе дѣло!

Вѣдь и московскій городской работный домъ устроенъ былъ съ самыми лучшими намѣреніями.

А изъ очерковъ г. Подъячева мы знаемъ, въ какой адъ онъ превратился.

Вѣдь и тотъ пріютъ, о которомъ я только что разсказалъ, основанъ былъ съ самыми лучшими, великодушными намѣреніями.

Сколько душевнаго огня, увлеченія было тоже, вѣроятно, вложено въ дѣло его основанія.

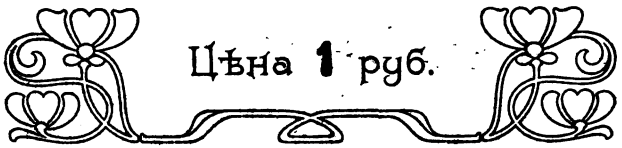
А что потомъ получилось?

Это горе всѣхъ нашихъ филантропическихъ учрежденій. На первое время въ нихъ всегда великолѣпно, а потомъ-то воцаряются „мерзость запустѣнія“. Камнями, изъ которыхъ выстроены эти пріюты, убѣжища, богадѣльни, не мало вымощено ада.

КОНЕЦЪ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	Стр.
Горе и радости маленькаго человѣка	3
Что такое ребенокъ?	25
Семья и школа	37
Учитель	46
Харьковская трагедія	61
Маленькіе чиновники	71
Гимназическій докторъ	86
Русскій языкъ	95
Первый ученикъ	113
На томъ свѣтѣ	119
Историческіе люди дурного поведенія	125
Нѣчто о пуговицахъ и о школѣ	129
Конкурсъ	136
Безъ циркуляра	142
Посѣтитель	148
Призракъ	156
Черезъ мѣсяцъ	165
О незаконныхъ и о законныхъ, но несчастныхъ дѣтяхъ	180
Компетентное мнѣніе	191
Право отца	198
Кандидаты	206
Преступные подростки	218
Дѣтская проституція	234
Брошенныя дѣти	258


Цѣна 1 руб.

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

JAN 1 A '6
46557